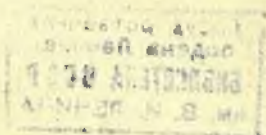


*В. М. Дорошевичъ.*

# Сахалинъ.

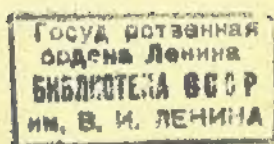
## II. Преступники.



*Со многими рисунками.*



Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая улица, свой домъ.  
МОСКВА. — 1907.



44260-48

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

### Золотая ручка.

Воскресенье. Вечеръ. Около маленькаго, чистенькаго домика, рядомъ съ Дербинской богадѣльней, шумъ и смѣхъ. Скрипять убранныя ельникомъ карусели. Визжитъ оркестръ изъ трехъ скрипокъ и фальшиваго кларнета. Поселенцы пляшутъ трепака. На подмосткахъ „непомящій родства“ магъ и волшебникъ ѣстъ горящую паклю и выматываетъ изъ носа разноцвѣтныя ленты. Хлопаютъ пробки квасныхъ бутылокъ. Изъ квасной лавочки раздаются подвыпившіе голоса. Изъ оконъ доносится:

— Бардадымъ. Помирилъ, рубль мазу. Шеперка, по купу очко. На пе. На перепе. Барыня. Два сбока.

Хозяйка этой квасной, игорнаго дома, карусели, танцкласса, корчмы и Сахалинскаго кафе-шантана—„крестьянка изъ ссыльных“, Софья Влювштейнъ.

Всероссійски, почти европейски, знаменитая „Золотая ручка“.

Во время ея процесса столь вещественныхъ доказательствъ горѣлъ огнемъ отъ груды колець, браслетъ, колье. Трофеевъ — уликъ.

— Свидѣтельница, — обратился председатель къ одной изъ потерпѣвшихъ, — укажите, какія здѣсь вещи ваши?

Дама съ измѣнившимся лицомъ подошла къ этой „Голкондѣ“.

Глаза горѣли, руки дрожали. Она перебирала, трогала каждую вещь.

Тогда „съ высоты“ скамьи подсудимыхъ раздался насмѣшливый голосъ:

— Сударыня, будьте спокойнѣе. Не волнуйтесь такъ: эти брильянты—поддѣльныя.

Этотъ эпизодъ вспомнился мнѣ, когда я, въ шесть часовъ утра, шелъ въ первый разъ въ гости къ „Золотой ручкѣ“.



Я ждалъ встрѣчи съ этимъ Мефистофелемъ, „Рокамболемъ въ юбкѣ“.

Съ могучей преступной натурой, которой не сломила ни каторга, ни одиночная тюрьма, ни кандалы, ни свистъ пули, ни свистъ розги. Съ женщиной, которая, сидя въ одиночномъ заключеніи, измышляла и создавала планы, отъ которыхъ пахло кровью.

И... я невольно отступилъ, когда навстрѣчу мнѣ вышла маленькая старушка съ нарумяненнымъ, сморщеннымъ какъ печеное яблоко лицомъ, въ ажурныхъ чулкахъ, въ старенькомъ капотѣ, съ претензіями на кокетство, съ завитыми крашеными волосами.

— Неужели „эта“?

Она была такъ жалка со своей „убогой роскошью наряда и подѣльной краской ланить“. Сѣдые волосы и желтыя обтянутыя щеки не произвели бы такого впечатлѣнія.

Зачѣмъ все это?

Рядомъ съ ней стоялъ высокій, здоровый, плотный, красивый, — какъ бываетъ красиво сильное животное, — ея „сожитель“, ссыльно-поселенецъ Богдановъ.

Становилось все ясно...

И эти пунцовыя румяна, которыя должны играть, какъ свѣжій румянецъ молодости.

Мы познакомились.

Блювштейнъ попросила меня сѣсть. Намъ подали чай и бисквиты.

Сколько ей теперь лѣтъ, я не берусь опредѣлить. Мнѣ никогда не приходилось видѣть женщинъ, у которыхъ надъ головой свистѣли пули, — женщинъ, которыхъ сѣкли. Трудно судить по лицу, сколько лѣтъ человѣку, пережившему такія минуты!

Она говоритъ, что ей 35, но какая же она была бы пятидесятилѣтняя женщина, если бы не говорила, что ей тридцать пять.

На Сахалинѣ про нее ходитъ масса легендъ. Упорно держится мнѣніе, что это вовсе не „Золотая ручка“. Что это „смѣнница“, подставное лицо, которое отбываетъ наказаніе — въ то время какъ настоящая „Золотая ручка“ продолжаетъ свою неуловимую дѣятельность въ Россіи.

Даже чиновники, узнавъ, что я видалъ и помню портреты „Золотой ручки“, снятые съ нея еще до суда, разспрашивали меня послѣ свиданія съ Блювштейнъ:

— Ну, что? Она? Та?

— Да, это остатки той.

Ее все же можно узнать. Узнать, несмотря на страшную перемену.

Только глаза остались все тѣ же. Эти чудные, безконечно симпатичные, мягкіе, бархатные, выразительные глаза. Глаза, которые „говорили“ такъ, что могли даже отлично лгать.

Одинъ изъ англичанъ, путешествовавшихъ по Сахалину, съ не обыкновеннымъ восторгомъ отзывается объ огромномъ образованіи и „свѣтскости“ „Золотой ручки“, объ ея знаніи иностранныхъ языковъ. Какъ еврейка, она говоритъ по-нѣмецки.

Но я не думаю, чтобъ произношеніе „бельэтажъ“, вмѣсто слова „бельэтажъ“, — говорило особенно о знаніи французскаго языка, образованіи или свѣтскости Софьи Блювштейнъ. По манеру говорить — это простая мѣщаночка, мелкая лавочница.

И, право, для меня загадка, какъ ея жертвы могли принимать „Золотую ручку“ — то за знаменитую артистку, то за вдовушку-аристократку.

Вѣроятно, разгадка этого кроется въ ея хорошенькихъ глазкахъ, которые остались такими же красивыми, несмотря на все, что перенесла Софья Блювштейнъ.

А перенесла она такъ же много, какъ и совершила.

Ея преступная натура не сдавалась, упорно боролась и доказала бесполезность суровыхъ мѣръ въ дѣлѣ исправленія преступныхъ натуръ.

2 года и 8 мѣсяцевъ эта женщина была закована въ ручные кандалы.

Ея безсильныя, сохнувшія руки, тонкія, какъ плоти, дряблыя, лишенныя мускулатуры, говорятъ вамъ, что это за наказаніе.

Она еще кое-какъ владѣетъ правой рукой, но, чтобъ поднять лѣвую, должна взять себя правою подъ локоть.

Ноющая боль въ плечѣ сохнувшей руки не даетъ ей покоя ни днемъ ни ночью. Она не можетъ сама повернуться съ боку на бокъ, не можетъ подняться съ постели.

И, право, какимъ ужаснымъ каламбуромъ звучала эта жалоба „Золотой ручки“ на сохнувшую руку.

Ее сѣкли, и, — какъ выражаются обыкновенно гг. рецензенты, — „воспоминаніе объ этомъ спектаклѣ долго не изгладится изъ памяти исполнителей и зрителей“. Всѣ — и приводившіе въ исполненіе наказаніе и зрители-арестанты — до сихъ поръ не могутъ безъ улыбки вспомнить о томъ, какъ „драли Золоторучку“.

Улыбается при этомъ воспоминаніи даже никогда не улыбающійся Комлевъ, ужасъ и отвращеніе всей каторги, страшнѣйшій изъ сахалинскихъ палачей.



— Какъ же, помню. Двадцать я ей далъ

— Она говоритъ, — больше.

— Это ей такъ показалось, — улыбается Комлевъ, — я хорошо помню—сколько. Это я ей двадцать такъ далъ, что могло съ двѣ сотни показаться.

Ее наказывали въ 9 номеръ Александровской тюрьмы для „исправляющихся“.

Присутствовали всѣ, безъ исключенія. И тѣ, кому въ силу печальной необходимости приходится присутствовать при этихъ ужасныхъ и отвратительныхъ зрѣлищахъ, и тѣ, въ чьемъ присутствіи не было никакой необходимости. Изъ любопытства.

Въ номерѣ, гдѣ помѣщается человѣкъ сто, было на этотъ разъ человѣкъ триста. „Исправляющіеся“ арестанты влѣзали на нары, чтобъ „лучше было видно“. И наказанье приводилось въ исполненіе среди ципичныхъ шутокъ и остротъ каторжанъ. Каждый крикъ несчастной вызывалъ взрывъ гомерическаго хохота.

— Комлевъ, наддай! Не мажь.

Они кричали то же, что кричали палачамъ, когда наказывали ихъ.

Но Комлеву не надо было этихъ поощрительныхъ возгласовъ.

Артистъ, виртуозъ и любитель своего дѣла, — онъ „клатъ розга въ розгу“, такъ что кровь брызгала изъ-подъ прута.

Посрединѣ наказанія съ Софьей Блювштейнъ сдѣлался обморокъ. Фельдшеръ привелъ ее въ чувство, далъ понюхать спирта, — и казаніе продолжалось.

Блювштейнъ едва встала съ „кобылы“ и дошла до своей одиночной камеры<sup>1)</sup>.

Она не знала покоя въ одиночномъ заключеніи.

— Только, бывало, успокоишься, — требуютъ: „Соньку-Золотую ручку“. — Думаешь, — опять что. Нѣтъ. Фотографію снимать.

Это дѣлалось ради мѣстнаго фотографа, который нажилъ себѣ деньгу на продажѣ карточекъ „Золотой ручки“.

Блювштейнъ выводили на тюремный дворъ. Устанавливали кругомъ „декорацію“.

Ее ставили около наковальни, тутъ же разставляли кузнецовъ съ молотами, надзирателей, — и мѣстный фотографъ снималъ якобы сцену закованія „Золотой ручки“.

Эти фотографіи продавались десятками на всѣ пароходы, приходившіе на Сахалинъ.

---

<sup>1)</sup> Теперь тѣлесныя наказанія для женщинъ отмѣнены закономъ. Это было одно изъ послѣднихъ.

— Даже на иностранных пароходах покупали. Вездѣ ею интересовались, — какъ пояснилъ мнѣ фотографъ, принеся мнѣ цѣлый десятокъ фотографій, изображавшихъ „заковку“.

— Да зачѣмъ же вы мнѣ-то столько ихъ принесли?



Софья Блювштейнъ „Золотая ручка“.

— А для подарковъ знакомымъ. Всѣ путешественники всегда десятки ихъ брали.

Эти фотографіи — замѣчательныя фотографіи. И ихъ главная „замѣчательность“ состоитъ въ томъ, что Софья Блювштейнъ на нихъ „не похожа на себя“. Сколько бессильнаго бышенства напи-



сано на лицѣ. Какой злобой, какимъ страданіемъ искажены черты. Она закусила губы, словно изо всей силы сдерживая готовое сорваться съ языка ругательство. Какая это картина человѣческаго униженія!

— Мучили меня этими фотографіями, — говоритъ Софья Блювштейнъ.

Специалистка по части побѣговъ, она бѣжала и здѣсь со своимъ теперешнимъ „сожителемъ“ Богдановымъ.

— Но ужъ силы были не тѣ, — съ горькой улыбкой говоритъ Блювштейнъ, — больная была. Не могу пробираться по лѣсу. Говорю Богданову: „Возьми меня на руки, отдохну“. Понесъ онъ меня на рукахъ. Самъ измучился. Силь нѣтъ. „Присядемъ, — говоритъ, — отдохнемъ“. Присѣли подъ деревцомъ. А по лѣсу-то стоишь стоять, валежники трещать, погоня... Обходятъ.

Бѣгство „Золотой ручки“ было обнаружено сразу. Немедленно кинулись въ погоню. Повели облаву.

Одинъ отрядъ гналъ бѣглецовъ по лѣсу. Смотритель съ 30 солдатами стоялъ на опушкѣ.

Какъ вдругъ изъ лѣса показалась фигура въ солдатскомъ платьѣ.

— Пли!

Раздался залпъ 30 ружей, но въ эту минуту фигура упала на землю. 30 пуль просвѣтали надъ головой.

— Не стрѣляйте! Не стрѣляйте! Сдаюсь, — раздался отчаянный женскій голосъ.

„Соддатъ“ бросился къ смотрителю и упалъ передъ нимъ на колѣни.

— Не убивайте!

Это была переодѣтая „Золотая ручка“.

Чѣмъ занимается она на Сахалинѣ.

Въ Александровскомъ, Оморѣ или Корсаковскомъ, — во всѣхъ этихъ, на сотни верстъ отстоящихъ другъ отъ друга, мѣстечкахъ, — вездѣ знаютъ „Соньку-золоторучку“.

Каторга ею какъ будто гордится. Не любитъ, но относится все-таки съ почтеніемъ.

— Баба — голова.

Ея изумительный талантъ организовать преступные планы и здѣсь не пропадалъ даромъ.

Вся каторга называетъ ее главной виновницей убійства богатаго лавочника Никитина и кражи 56 тысячъ у Юрковского. Слѣдствіе по обоимъ этимъ дѣламъ дало массу подозрѣній противъ Блювштейнъ и — на едаой улики.



Но это было раньше.

— Теперича Софья Ивановна больны и никакими дѣлами не занимаются,—какъ пояснилъ ея „сожитель“ Богдановъ.

Официально она числится содержательницей квасной лавочки.

Варить великолѣпный квасъ, построила карусель, набрала среди поселенцевъ оркестръ изъ четырехъ человекъ, отыскала среди бродягъ фокусника, устраиваетъ представленія, танцы, гулянья.

Неофициально...

— Шутъ ее знаетъ, какъ она это дѣлаетъ,—говорилъ мнѣ смотритель поселеній,—вѣдь весь Сахалинъ знаетъ, что она торгуетъ водкой. А сдѣлаешь обыскъ,—ничего, кромѣ бутылокъ съ квасомъ.

Точно такъ же всѣ знаютъ, что она продаетъ и покупаетъ краденныя вещи, но ни дневные ни ночные обыски не приводятъ ни къ чему.

Такъ она „борется за жизнь“, за этотъ несчастный остатокъ преступной жизни.

Бьется какъ рыба объ ледъ, занимается мелкими преступленіями и гадостями, чтобы достать на жизнь себѣ и на игру своему „сожителю“.

Ея завѣтная мечта — вернуться въ Россію.

Она закидывала меня вопросами объ Одессѣ.

— Я думаю, не узнаешь ея теперь.

И когда я ей рассказывалъ, у нея вырвался тяжкій вздохъ:

— словно о другомъ свѣтѣ рассказываете вы мнѣ... Хоть бы глазкомъ взглянуть...

— Софья Ивановнѣ теперича не захѣмъ возвращаться въ Россію,—обрывалъ ее обыкновенно Богдановъ,—имъ теперь тамъ дѣлать нечего.

Этотъ „мужъ знаменитости“ ни на секунду не выходилъ во время моихъ посѣщеній, слѣдилъ за каждымъ словомъ своей „сожительницы“, словно боясь, чтобы она не сказала чего лишняго.

Это чувствовалось, — его присутствіе связывало Блювштейнъ, свинцовымъ гнетомъ давило, — она говорила и чего-то не договаривала.

— Мнѣ надо сказать вамъ что-то, — шепнула мнѣ въ одно изъ моихъ посѣщеній Блювштейнъ, улучивъ минутку, когда Богдановъ вышелъ въ другую комнату.

И въ тотъ же день ко мнѣ явился ея „конфидентъ“, безсрочный богатыльщикъ-каторжникъ К.

— Софья Ивановна назначаетъ вамъ randevu, — разсмѣялся онъ. — Я васъ проведу и постою на стрѣмѣ (покараулю), чтобы Богдановъ ее не поймалъ.

Мы встрѣтились съ ней за околицей.

— Благодарю васъ, что пришли, Бога ради, простите, что беспокоила. Мнѣ хотѣлось вамъ сказать, но при немъ нельзя. Вы видѣли, что это за человѣкъ. Съ такими ли людьми мнѣ приходилось быть знакомой, и вотъ теперь... Грубый, необразованный человѣкъ,— все, что заработаю, проигрываетъ, прогуливаетъ! Бьетъ, тиранить... Э, да что и говорить?

У нея на глазахъ показались слезы.

— Да вы бы бросили его!

— Не могу. Вы знаете, чѣмъ я занимаюсь. Пить, ѣсть нужно. А развѣ въ моихъ дѣлахъ можно обойтись безъ мужчины. Вы знаете, какой народъ здѣсь. А его боятся: онъ кого угодно за двугривенный убьетъ. Вы говорите, — разойтись... Если бы вы знали...

Я не спрашивала: я знаю, что Богдановъ былъ однимъ изъ обвиняемыхъ и въ убійствѣ Никитина и въ кражѣ у Юрковского.

Я глядѣлъ на эту несчастную женщину, плакавшую при воспоминаніяхъ о перенесенныхъ обидахъ. Чего здѣсь больше: привязанности къ человѣку или прикованности къ сообщнику?

— Вы что-то хотѣли сказать мнѣ?

Она отвѣчала мнѣ сразу:

— Пойдите... Пойдите... Дайте собраться съ духомъ... Я такъ давно не говорила объ этомъ... Я думала только, всегда думала, а говорить не смѣю. Онъ не велитъ... Помните, я вамъ говорила, что хотѣлось бы въ Россію. Вы, можетъ-быть, подумали, что опять за тѣми же дѣлами... Я уже стара, я больше не въ силахъ... Мнѣ только хотѣлось бы повидать дѣтей.

И при этомъ словѣ слезы хлынули градомъ у „Золотой ручки“.

— У меня вѣдь остались двѣ дочери. Я даже не знаю, живы ли онѣ, или нѣтъ. Я никакихъ извѣстій не имѣю отъ нихъ. Стыдятся, можетъ-быть, такой матери, забыли, а можетъ-быть, померли... Что жъ съ ними. Я знаю только, что онѣ въ актрисахъ. Въ опереткѣ, въ пажахъ. О, Господи! Конечно, будь я тамъ, мои дочери никогда бы не были актрисами.

Но подождите улыбаться надъ этой преступницей, которая плачетъ, что ея дочери актрисы.

Посмотрите, сколько муки въ ея глазахъ:

— Я знаю, что случается съ этими „пажами“. Но мнѣ хоть бы знать только, живы ли онѣ, или нѣтъ. Отыщите ихъ, узнайте, гдѣ онѣ. Не забудьте меня здѣсь, на Сахалинѣ. Увѣдомьте меня.



Дайте телеграмму. Хоть только — живы ли нѣтъ мои дѣти... Миѣ немного осталось жить, хоть умереть-то, зная, что съ моими дѣтьми, живы ли они... Господи, мучиться здѣсь, въ каторгѣ, не зная... Можетъ-быть, померли... И никогда не узнаю, не у кого спросить, некому сказать...

„Рокамболя въ юбкѣ“ больше не было.

Передо мной рыдала старушка — мать о своихъ несчастныхъ дѣтяхъ.

Слезы, смѣшиваясь съ румянами, грязными ручьями текли по ея сморщеннымъ щекамъ.

## Полуляховъ.

Убийство семьи Арцимовичей въ Луганскѣ — одно изъ страшнѣйшихъ преступленій послѣдняго времени.

Съ дѣлюю грабежа были убиты: членъ судебной палаты Арцимовичъ, его жена, ихъ сынъ 8-лѣтній мальчикъ, дворникъ и кухарка.

Меня предупредили, что убійца Полуляховъ производитъ „удивительно симпатичное впечатлѣнiе“, и все — таки я никогда не испытывалъ такого сильнаго потрясенiя, какъ при видѣ Полуляхова.

— Полуляхова изъ кандалной привели! — доложилъ надзиратель.

— Пусть войдетъ.

Я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ двери, навстрѣчу „знаменитому“ убійцѣ и отступилъ.

Въ дверяхъ появился средняго роста молодой человѣкъ, съ каштановыми волосами, небольшой бородкой, съ отпечаткомъ врожденнаго изящества, даже подъ арестантскимъ платьемъ, съ коричневыми, удивительно красивыми глазами.

Я никогда не видывалъ болѣе мягкихъ, болѣе добрыхъ глазъ.

— Вы... Полуляховъ? — съ невольнымъ удивленiемъ спросилъ я.

— Я-съ! — отвѣчалъ онъ съ поклономъ.

Голосъ у него такой же мягкій, прiятный, бархатистый, добрый и кроткій. Такой же чарующій, какъ и глаза.

Въ его походкѣ, мягкой, эластичной, есть что-то кошачье.

Полуляховъ принадлежитъ къ числу „настоящихъ убійцъ“, расовыхъ, породистыхъ, которыхъ очень мало даже на Сахалинѣ. Эти „настояшiе убійцы“ среди людей, это — тигры среди зайцевъ.

Мы много и подолгу бесѣдовали потомъ съ Полуляховымъ, и я никакъ не могъ отдѣлаться отъ чувства невольнаго расположенія, которое вселялъ во мнѣ этотъ человѣкъ. Мнѣ вспомнился одинъ владивостокскій офицеръ, привязавшійся къ пойманному тигренку, державшій его при себѣ, какъ кошку, и плакавшій горькими слезами, когда тигръ выросъ и его пришлось застрѣлить.

Голосъ Полуляхова льется въ душу, его глаза очаровываютъ васъ, отъ него вѣетъ такой добротой. И нужно много времени, чтобы разобрать, что вмѣсто чувства этотъ человѣкъ полонъ только сентиментальности.

Но первое впечатлѣніе, которое производитъ этотъ человѣкъ,— вы чувствуете полное довѣріе къ нему, и я понимаю, что несчастная г-жа Арцимовичъ, когда онъ вошелъ ночью въ ея спальню, могла довѣрчиво говорить съ нимъ, не опасаясь за свою жизнь.

- Развѣ такой человѣкъ можетъ убить?

Полуляхову нѣтъ еще тридцати лѣтъ.

Онъ выросъ въ увѣренности, что будетъ жить богато. Онъ росъ у дяди, стараго богатаго торговца, который постоянно говорилъ ему:

— Умру,—все тебѣ останется.

Полуляховъ учился недолго въ школѣ, но настоящее воспитаніе получалъ въ публичномъ домѣ.

Взявъ изъ школы, дядя поставилъ Полуляхова въ лавку, чтобы сызмальства приучался къ торговлѣ. Приказчики, чтобы имъ удобнѣе было красть, начали развращать хозяйскаго племянника.

Съ 12 лѣтъ онѣ начали его брать съ собой въ позорные дома. Полуляховъ былъ красивый мальчикъ, женщины ласкали и баловали его.

— Конечно, онѣ были мнѣ не нужны. Но мнѣ нравилось тамъ. Каждый день приказчики говорили: а тебѣ такая-то кланяется, тебя опять просили привести.

Это льстило мальчику, и онъ таскалъ изъ кассы, чтобы ходить туда.

— Музыку, танцы, женщинъ,—это я очень люблю! — съ улыбкой говоритъ Полуляховъ.

Такъ тянулось лѣтъ пять. Чтобы прекратить воровство приказчиковъ, дядя взялъ кассиршу. Полуляховъ соблазнилъ эту молодую дѣвушку, и она начала для него красть.

Я къ ней подольщаюсь: „Возьми да возьми изъ кассы“. А украдетъ для меня, я туда, къ своимъ, и закачусь.

Съ этой кассирши Полуляховъ и сталъ презирать женщинъ.



— За слабость за нихую. Просто погапо. Все, что хочешь, сдѣлають,—только поцѣлуй. Чисто животныя.

Женщины скоро надобдали Полуляхову.

— Понравится, подольщаешься. А тамъ и противно станетъ. Такая же дрянъ, какъ и всѣ: чисто собачонки, избеи, а приласкаль, опять ластится. Я ихъ даже и за людей не считаю.

При наружности Полуляхова, вѣрить въ его большой и скорый успѣхъ у женщинъ можно.

— И противны онѣ мнѣ и жить безъ нихъ, чувствую, не могу. Злоба меня на нихъ на всѣхъ брала.

Полуляховудоставляло удовольствіе тиранить, мучить, причинять боль влюблявшимся въ него женщинамъ.

Когда ему было около 18 лѣтъ, дядя открылъ воровство, выгналъ кассиршу и прогналъ Полуляхова изъ дому.

Полуляховъ пустился на кражи, но „неумѣлый былъ“, скоро попался и сѣлъ въ тюрьму. Это было для Полуляхова „въ родѣ, какъ университетъ“.

— Тутъ я такихъ людей увидѣлъ, какихъ раньше не думалъ, что есть на свѣтѣ. Что я раньше, какъ дядя выгналъ, воровалъ! На хлѣбъ да на квасъ! А тутъ цѣлый міръ, можно сказать, передо мной открылся. Воровать и жить. И вся жизнь изъ одного веселья и удалства!

Изъ тюрьмы Полуляховъ вышелъ съ массою знакомствъ, со знаніемъ воровскаго дѣла, и съ этихъ поръ его жизнь пошла



Убийца семьи Арцимовичей, Полуляховъ.

однимъ и тѣмъ же порядкомъ: послѣ удачной кражи онъ шелъ въ позорный домъ, кугиль, въ него влюблялась тамъ какая-нибудь дѣвица, и онъ становился ея „котомъ“. Ему она отдавала каждую копейку, для него просила, воровала деньги. Потомъ дѣвица надоѣдала Полуляхову, онъ опять шелъ на „хорошую кражу“, прокучивалъ награбленное въ другомъ учрежденіи, увлекалъ другую дѣвицу.

При этомъ надо замѣтить, что Полуляховъ почти ничего не пьетъ:

— Такъ, мнѣ эта жизнь нравилась. Кругомъ все гуляетъ, веселится, и самъ ни о чемъ не думаешь. Словно въ угарѣ ходишь! Они пьютъ, а ты пьянѣешь.

Эта угорѣлая жизнь время отъ времени прерывалась высидами „по подозрѣнію въ кражѣ“.

— А убивать, Полуляховъ, раньше не случалось?

— Одинъ разъ, нечаянно. Ночью было. На кражѣ попался. Гнались за мною. Всѣ отстали, а одинъ какой-то дворникъ не отстаетъ. Я черезъ ровъ, онъ черезъ ровъ, я черезъ плетень, онъ черезъ плетень. „Врешь,—кричитъ,—не уйдешь!“ Зло меня взяло. Этакая сволочь! Вѣдь не украдено, чего же еще? Пить, непремѣнно засадить ему человѣка нужно. Подпустилъ я его поближе, револьверъ со мной былъ, я безъ него ни шагу,—обернулся, выстрѣлилъ. Онъ руками замахалъ и брякнулся... Потомъ въ газетѣ прочелъ, что убить неизвѣстнымъ злоумышленникомъ дворникъ такой-то. Тутъ только имя его узналъ. Ни онъ меня не зналъ ни я его. А онъ меня въ тюрьму усадить хотѣлъ, а я его жизни лишилъ. И хоть бы изъ-за интереса оба дѣлали. А то такъ! Чудно устроены свѣтъ! Здорово живешь, другъ за другомъ гоняются, здорово живешь—другъ дружку убиваютъ! Чисто волки бѣшеные!

Эта „волчья жизнь“ надоѣла Полуляхову.

— Достать 25 тысячъ, да и зажить, какъ слѣдуетъ. Торговлю открыть. По торговлѣ я соскучился.

— Да вѣдь поймали бы, Полуляховъ.

— Зачѣмъ поймать? По чужому паспорту, въ чужомъ городѣ, въ лучшемъ видѣ прожить можно. Развѣ мало такого народа въ Россіи живетъ? Намъ въ тюрьмахъ это лучше извѣстно!

— Почему же именно 25 тысячъ?

— Такъ ужъ рѣшилъ 25 тысячъ.

Эти породистые, расовые „настоящіе“ преступники удивительные „самовнушители“. Имъ почему-то представится фантастическая



цифра, напримѣръ, 25 тысячъ, и они живутъ, загнипозированные этой цифрой. Попадаетъ имъ сумма меньшая:

— Нѣтъ! Мнѣ нужно, чтобъ поправиться, 25 тысячъ.

Они живутъ и дѣйствуютъ подъ вліяніемъ одной только этой бредовой идеи. Ради нея не остановятся ни передъ чѣмъ.

— Случалось, Полуляховъ, „братъ большими суммами“?

— Я на маленькія дѣла не ходилъ. Я искалъ денегъ, а не такъ: украсть, что попало! Бралъ тысячами.

— Куда же онѣ дѣвались?

— Вѣжу по городамъ и прокучиваю.

Почему жъ было ихъ не копить, пока не накопится 25 тысячъ?

— Терпѣнья не было. У меня ни къ чему терпѣнья нѣтъ. Такъ ужъ рѣшилъ: возьму 25 тысячъ, и сразу переменяю всей жизни.

Нетерпѣливость—ихъ характерная черта. Они нетерпѣливы во всемъ, даже при совершеніи преступленія. Изъ-за нетерпѣливости совершаютъ массу,—съ ихъ точки зрѣнія,—„глупостей“, изъ-за которыхъ потомъ и попадаютъ. Я знаю, напримѣръ, убійство баякира Лившица въ Одессѣ.

Убійцы были въ самомъ „благопріятномъ“ положеніи. Среди нихъ былъ спеціалистъ по отмыканію кассъ, знаменитость среди воровъ, прославившійся своими дѣяніями въ Россіи, Турціи, Румыніи, Греціи, Египтѣ<sup>1)</sup>.

Люди пришли только воровать. Они могли бы отомкнуть кассу, достать деньги, запереть кассу снова и уйти. Прислуга была съ нимъ заодно. Но старикъ банкиръ на этотъ разъ долго не засыпалъ, читая книгу. И убійцы кинулись на него, задушили и убивали, не тронувъ даже кассы: „спеціалистъ“ испугался убійства и убивалъ раньше всѣхъ.

— Залѣмъ же вы убили старика?—спрашивалъ я душителя Томилиина.

— Невтерпежъ было. Не засыпалъ долго! —пожимая плечами, отвѣчалъ Томилиинъ.

Въ то время, какъ Полуляховъ сгоралъ отъ нетерпѣнія, не находилъ себѣ мѣста, метался изъ города въ городъ, „во свѣ даже другую жизнь и свою торговлю видѣлъ“, онъ сошелся съ молодой женщиной Пирожковой, служившей въ прислугахъ, и громилой Кареевымъ, ходившимъ тоже „по большимъ дѣламъ“.

<sup>1)</sup> См. далѣе очеркъ „Спеціалистъ“.

Полуляховъ съ Пирожковой жили въ одномъ изъ южныхъ городовъ, а Казеевъ разъѣзжалъ по городамъ, высматривая, нельзя ли гдѣ поживиться. И вотъ однажды Полуляховъ получилъ телеграмму отъ Казеева, изъ Луганска:

„Пріѣзжай вмѣстѣ. Есть купецъ. Можно открыть торговлю“.

Арцимовичей погубилъ несгораемый шкафъ, который вдругъ почему-то выписалъ себѣ покойный Арцимовичъ.

Покупка несгораемой кассы вызвала массу толковъ въ Луганскѣ. Заговорили объ огромномъ наслѣдствѣ, полученномъ Арцимовичемъ:

— Иначе зачѣмъ и кассу покупать? Все обходились безъ кассы а вдругъ касса!

Луганскъ опредѣлилъ точно и цифру наслѣдства 70 тысячъ.

Эти слухи дошли до Казеева, пріѣхавшаго въ Луганскъ провѣхать: „Нѣтъ ли здѣсь кого“, и онъ немедленно „пробилъ телеграмму“ Полуляхову.

Все благопріятствовало преступленію.

Арцимовичи какъ разъ разсчитали горничную. И это въ маленькомъ городѣ сейчасъ же сдѣлалось извѣстно пріѣзжимъ. Полуляховъ подослалъ къ нимъ Пирожкову. Тѣ ее взяли.

— А Пирожкова для меня была готова въ огонь и въ воду.

Пирожкова служила горничной у Арцимовичей, а Полуляховъ и Казеевъ жили въ городѣ, какъ двое пріѣзжихъ купцовъ, собирающихся открыть торговлю.

Было ли это убійствомъ съ заранѣе обдуманнмъ намѣреніемъ, или просто,—какъ часто бываетъ,—грабежъ, неожиданно сопровождающійся убійствомъ?

— Не надо неправду говорить. Я сразу увидѣлъ, что безъ „преступленія“ тутъ не обойтись: очень народу въ домѣ много. Казеевъ не разъ говорилъ: „Не уѣхать ли? Ничего не выйдетъ!“ Да я стоялъ: „Когда еще 70 тысячъ найдешь?“ — говорятъ Полуляховъ.

Пирожкова часто потихоньку бѣгала къ Полуляхову:

— Баринъ деньги считаетъ. Когда въ кассу идетъ, двери закрывается! Я было разъ сунулась, будто, зачѣмъ-то, а онъ какъ зыкнетъ: „Ты чего здѣсь шлешься? Пошла вонъ!“ Видать, что денегъ много и кухарка и дворникъ говорятъ, что много. Ключи всегда у барыни. Ложатся,—подъ подушку кладутъ.

Хозяевъ Пирожкова ругала:

— Барыня добрая. А баринъ не приведи Богъ. Что не такъ кричитъ, ругается. Ужъ я цѣлый день бѣгаю, стараюсь, а онъ

все кричить, все ругаетъ нехорошими словами, и безо всякой причины.

— И у меня отъ этихъ рассказовъ кровь вскипала! — говорить Полуляховъ. — Я самъ никогда этими словами не ругаюсь...

Отъ Полуляхова, дѣйствительно, никто въ тюрьмѣ не слыхалъ неприличнаго слова.

— Не люблю и тѣхъ, кто ругается!

Я часто наблюдалъ это надъ тихими, „настоящими“ преступниками. Бѣда, если кто-нибудь изъ нихъ обладаетъ какой-нибудь добродѣтелью. Они требуютъ, чтобы весь міръ обладалъ непременно этой добродѣтелью, и отсутствіе ея въ комъ-нибудь кажется имъ ужаснымъ, непростительнымъ преступленіемъ: „что жь это за человѣкъ?“

— За что же онъ людей-то ругаетъ? Дѣвка служить, треплется, а онъ ее ругаетъ? Что меньше себя, такъ и ругаетъ? Людей за людей не считаетъ?

Полуляховъ разспрашивалъ всѣхъ, что за человѣкъ Арцимовичъ, и съ радостью, вѣроятно, слышалъ, что это — человѣкъ грубый.

Въ сущности, онъ „распалаялъ“ себя на Арцимовича. Полуляховъ, быть-можетъ, боялся своей доброты. Съ нимъ уже былъ случай. Вооруженный, онъ забрался однажды ночью въ квартиру, съ рѣшеніемъ убить цѣлую семью.

— Да жалость взяла. Страхъ напалъ чужія жизни нарушать. За что я невинныхъ людей убивать буду.

И ему надо было отыскать „вину“ на Арцимовичъ, возненавидѣть его.

Ну, а если бы и Пирожкова и всѣ говорили, что Арцимовичъ человѣкъ добрый, убилъ бы его?

— Не знаю... Можетъ-быть... А можетъ, и рука бы не поднялась...

— Ну, хорошо. Арцимовичъ былъ человѣкъ грубый. Но вѣдь другіе-то были люди добрые... Ихъ-то какъ же?

— Ихъ-то ужъ потомъ... Когда въ сердце придешь... Одного убилъ, и другихъ нужно... А съ него начинать надо было.

Наканунѣ убійства, вечеромъ, Полуляховъ бродилъ около дома Арцимовичей:

— Думалъ, въ щелку въ ставни загляну, самъ все-таки расположеніе комнатъ увижу.

Въ это время изъ калитки вышелъ Арцимовичъ.

Я спрятался.



Увидавъ мелькнувшій во тьмѣ силуэтъ, Арцимовичъ крикнулъ:

— Что это тамъ за жулье шляется?

И выругался нехорошимъ словомъ.

Думалъ ли онъ, что въ эту минуту въ двухъ шагахъ отъ него его убійца, что этому колеблющемуся убійцѣ нужна одна капля для полной рѣшимости.

— Ровно онъ меня по мордѣ ударилъ! — говоритъ Полуляховъ. — Задрожалъ даже я весь. Вѣдь не знаетъ, кто идетъ, зачѣмъ идетъ, а ругается. Оскорбить хочетъ. Возненавидѣлъ я его тутъ, какъ кровнаго врага.

Полуляховъ вернулся съ этой рекогносцировки съ рѣшеніемъ убить Арцимовича и не дальше какъ завтра.

— Теперь мнѣ это ничего не стоило.

Пирожкова познакомила еще раньше дворника Арцимовичей съ Полуляховымъ и Казеевымъ.

Казеевъ, все еще предполагавшій, что готовится только кража, „закидывалъ удочку“, не согласится ли дворникъ помогать. Тотъ поддавался.

— Мнѣ всегда этотъ дворникъ противенъ былъ! — говорилъ Полуляховъ. — Ну, мы чужіе люди. А ему довѣряютъ во всемъ, у людей же служить, и противъ людей же, что угодно, сдѣлать готовы. только помани. Народецъ!

— Ну, а Пирожкова? Вѣдь и Пирожкова тоже служила, и ей Арцимовичи довѣряли?

— Да мнѣ и Пирожкова противна была. Мнѣ всё противны были... Она хоть по любви, да и то было мерзко: что же это за человѣкъ? Его приласкай, онъ, на кого хочешь, бросится. Это ужъ не человѣкъ, а собака.

Въ вечеръ убійства дворникъ Арцимовичей былъ приглашенъ къ „пріѣзжимъ купцамъ“ въ гости. Разговоръ шелъ о кражѣ. Дворникъ „хлопалъ водку стаканами, бахвалился, что все отъ него зависитъ“. Предполагалось просто напоить его мертвецки, до безчувствія.

— Да ужъ больно онъ былъ противенъ. Хохолъ онъ, выговоръ у него нечистый. Слова коверкаетъ. „Хо“ да „хо“! Бахвалится. Лицо блѣдное, глаза мутные. Слюни текутъ. Водку пьетъ, льетъ, колбасу грязными руками рветъ. Такъ онъ мнѣ сталъ мерзокъ.

Трудно представить себѣ то „презрѣніе къ людямъ“, которое чувствуютъ эти „настоящіе“ преступники. И какъ они ставятъ все въ строку человѣку. И какъ мало нужно, чтобы человѣкъ вселилъ въ нихъ къ себѣ отвращеніе.

— Сидить это онъ передо мной. Смотрю на него: словно гадица какая-то! Запрокинулъ опъ такъ голову, я не выдержалъ. Цапъ его за горло. Прямо изъ-за одного омерзѣнія задушилъ.

Дворникъ только „трепыхнулся раза два“. Казеевъ вскочилъ и даже вскрикнулъ отъ неожиданности.

— Начали, — надо кончать! — сказалъ ему Полуляховъ.

Они стащили дворника въ сарай. Полуляховъ налилъ водки себѣ и Казееву:

— Самъ попробовалъ, но пить не сталъ: словно отъ дворника пахло. А Казеевъ былъ, бѣдняга, какъ полотно бѣлый, — ему сказалъ: „Пей!“ Зубы у него объ стаканъ звенѣли. Выпилъ. Говорю: Идемъ“. И далъ ему топоръ и себѣ взялъ.

Молча они дошли до дома Арцимовичей. У калитки ихъ ждала Пирожкова.

— Легли. Не знаю, спать ли еще.

Она сходила въ домъ еще разъ, послушала, вышла:

— Идите!

— А я-то слышу, какъ у нея зубы стучать. Обнялъ ее, поцѣловалъ, чтобы куражу дать. „Не бойся, — говорю, — дурочка!“ Колотится она вся, а шею такъ словно тисками сдушила. „Съ тобой, — говоритъ, — ничего не боюсь“. Ничего мы объ этомъ не сказали, ни слова, а только всѣ понимали, что убивать всѣхъ идемъ.

Полуляховъ пошелъ впередъ. За нимъ шелъ Казеевъ, за Казеевымъ — Пирожкова.

— Слыхатъ было, какъ у Казеева сердце стучать. Въ коридорѣ тепло, а въ ноги холодомъ потянуло: дверь забыли закрыть. Ледяныють ноги, — да и все. Квартира покойныхъ господъ Арцимовичей расположена такъ...

Полуляховъ такъ и сказалъ: „покойныхъ“ и нарисовалъ мнѣ на бумагѣ планъ квартиры: опъ каждый уголокъ зналъ по рассказамъ Пирожковой.

Изъ коридорчика они вышли въ маленькую комнату, раздѣлявшую спальни супруговъ: направо была спальня Арцимовича, въ комнатѣ нѣкогда спала жена съ сыномъ.

Полуляховъ зналъ, что Арцимовичъ спитъ головою къ окнамъ.

— Темно. Не видать ничего. Въ головѣ только и вертится: „Не уронить бы чего?“ Нащупавъ ногой кровать, размахнулся...

Первый ударъ пришелся по подушкѣ. Арцимовичъ проснулся, сказалъ „кто“ или „что“...

Полуляховъ „на голосъ“ ударилъ топоромъ въ другой разъ.

— Хряскъ раздался. Словно полѣно разрубилъ.

Полуляховъ остановился. Ни звука. Конечно.

— Вышелъ въ среднюю комнату. Прислушался. У госпожи Арцимовичъ въ спальнѣ тихо. Спать. Слышу только, какъ около меня что-то, словно часы, стучить. Это у Казеева сердце колотится „Стой, — шепчу, — тутъ. Караулъ“. Пирожковой руку въ темнотѣ нащупалъ, холодная такая. „Веди на кухню“. Вхожу. А въ кухнѣ свѣтло, ровно днемъ. Луна въ окна. Читать можно. Оглянулся: вижу постель, на подушкѣ черное, голова кухаркина, къ стѣнѣ отвернувшись, спитъ и такъ-то храпитъ. Взмахнулъ, — и такая-то жалость схватила. „За что?“ думаю. Да ужъ такъ только, словно другой кто мои руки опустилъ. Грохнуло, — и храпа больше нѣтъ. А луна-то — свѣтло такъ... Вижу по подушкѣ большое, большое черное пятно пошло... Отвернулся и пошелъ въ горницы

Полуляховъ сбросилъ окровавленный армякъ, вытеръ объ него руки, зажегъ свѣчку и безъ топора вошелъ въ спальню г-жи Арцимовичъ.

— Надо было, чтобъ она кассу отперла. Замокъ былъ съ секретомъ.

Арцимовичъ, или „госпожа Арцимовичъ“, — какъ все время говорить Полуляховъ, — сразу проснулась, какъ только онъ вошелъ въ комнату.

— Сударыня, не кричите! — предупредилъ ее Полуляховъ.

— Семень, это ты? — спросила Арцимовичъ.

— Нѣтъ, я — не Семень.

— Кто вы? Что вамъ нужно?

— Сударыня, извините, что мы васъ тревожимъ, — мы пришли воспользоваться вашимъ имуществомъ.

— Такъ-таки и сказалъ: „извините?“ — спросилъ я у Полуляхова.

— Такъ и сказалъ. Вѣжливость требуетъ. Я люблю, чтобъ со мной вѣжливы были, и самъ съ другими всегда вѣжливъ. Госпожа Арцимовичъ приподнялась на подушкѣ: „Да вы знаете, къ кому вы зашли? Вы знаете, кто такой мой мужъ?“ Тутъ ужъ и отъ улыбки удержаться не могъ. „Сударыня, — говорю, — для насъ всѣ равны!“ — „А гдѣ мой мужъ?“ спрашиваетъ. „Сударыня, — говорю, — о супругѣ вашемъ не беспокойтесь. Вашъ супругъ лежитъ связанный, и мы ему ротъ заткнули. Онъ не закричитъ. То же совѣтую и вамъ. А то и васъ свяжемъ“. — „Вы его убили?“ говорить. „Никакъ нѣтъ, — говорю, — намъ ваша жизнь не нужна, а нужно ваше достояніе. Мы



возьмемъ, что намъ нужно, и уйдемъ. Вамъ никакого зла не сдѣлаемъ“. Ее всю какъ лихорадка била, однако, посмотрѣла на меня, успокоилась, потому что я улыбался и смотрѣлъ на нее открыто. Она больше Казеева боялась. „Это,—спрашиваетъ,—кто?“ „Это,—говорю,—мой товарищъ. И его не извольте беспокоиться, и онъ вамъ ничего дурного не сдѣлаетъ“. Барыня успокоилась. „Это,—спрашиваетъ,—васъ Семенъ дворникъ подвель?“ — „Семенъ,—говорю,—тутъ ни при чемъ“. — „Нѣтъ,—говорить,—не лгите: я знаю, это Семеновы штуки“. Смѣшно мнѣ даже стало. „Ну, ужъ это,—говорю,—чьи штуки, теперь вамъ все равно. А только потрудитесь вставать, возьмите ключи и пойдите несгораемую кассу отпирать“. — „Куда жъ,—говорить,—я пойду, раздѣтая?“ Замѣтила тутъ она, что рубашка съ плечъ спала,—одѣяломъ прикрылась. Барыня такая была, покойная, красивая, видная. „Дайте мнѣ,—говорить,—кофточку!“ Я ей и кофточку подаль. Одѣла она, застегнулась. „Принесите,—говорить,—кассу сюда, она не тяжелая“ Тутъ ребенокъ ихъ проснулся, такъ мальчикъ лѣтъ восьми или девяти. Вскочилъ въ кроваткѣ. „Мама,—говорить,—кто это?“ А она ему: „Не кричи,—говорить,—и не бойся, папу разбудишь. Это такъ нужно, это люди изъ суда“. Я приказалъ Казееву стоять и караулить, а самъ пошелъ, кассу притащилъ. Около ея кровати поставилъ. „Открывайте!“ — говорю. Она присѣла на кровать, открываетъ,—такая спокойная, со мною разговариваетъ. И мальчикъ, глядя на нее, совсѣмъ успокоился. „Мама,—говорить,—я яблочка хочу“. — „Дайте ему,—говорить,—яблочка“. — „Дай!“ говорю Казееву. Тутъ же, на столикѣ, въ уголкѣ тарелка стояла съ мармеладомъ и яблоками, такъ штукъ 6—7 было. Казеевъ мнѣ подаль. А я яблочко выбралъ и мальчику далъ: „Кушайте!“ И мармеладу ему далъ. Открыла г-жа Арцимовичъ кассу. „Вотъ,—говорить,—все наше достояніе“. А въ кассѣ тысячи полторы денегъ, и такъ въ уголышкѣ рублей триста лежитъ. „А это,—говорить,—казенныя“. Вещи еще лежатъ дамскія, колечки, сережки. „А семьдесятъ тысячъ,—спрашиваю,—гдѣ?“ Смотритъ на меня во всѣ глаза. „Какія семьдесятъ тысячъ?“ — „А наслѣдство?“ — „Какое наслѣдство?“ Духъ у меня даже перехватило. „Да въ городѣ говорятъ“. — „Ахъ,—говорить,—вы этой глупой баснѣ повѣрили?“ Затрясся я весь. „Сударыня,—говорю,—лучше говорите правду! Гдѣ деньги? Хуже будетъ!“ — „Да хогъ убейте,—говорить,—меня, нигдѣ денегъ нѣту!“ Тутъ я самъ чуть было благимъ матомъ не заоралъ. Голова идетъ кругомъ. Однако вижу, барыня говоритъ правду: разъ есть желѣзная касса, куда же еще деньги прятать будутъ. „Давайте!“ говорю. А она такая спокойная: деньги вы-

нимаешь, подаетъ. „Вещи,—говорить,—вамъ брать не совѣтую. Съ этими вещами вы только попадетесь“. — „Все,—говорю, давайте. Не беспокойтесь!“ Объяснять даже стала, какая вещь сколько плачена, когда ей мужъ подарилъ. Удивлялся я ея спокойствію. У меня голова кругомъ идетъ, а она спокойна! Пошелъ я опять въ комнаты, сломалъ одинъ столъ, другой. „Да нѣтъ, — думаю, — гдѣ жъ деньгамъ быть?! Уходить теперь надо“. Взялъ топоръ, спряталъ подъ чуйку, опять въ спальню вернулся. А она улыбается даже. „Ну, что,—говорить,—убѣдились, что денегъ нѣтъ?“ И такъ мнѣ ея убивать не хотѣлось, такъ убивать не хотѣлось... Да о головѣ дѣло шло. Думалъ, такого человѣка убили, поймаютъ — не простятъ, ждалъ себѣ не иначе, какъ висѣлицы.

Одинъ вопросъ, Полуляховъ. Ждалъ висѣлицы и все-таки рисковалъ?

— Думалъ, не найдутъ! Ищи вѣтра въ полѣ. Хожу я по комнатѣ взадъ и впередъ,—продолжалъ рассказъ Полуляховъ,—и такъ мнѣ барыни жалъ, такъ жалъ. Ужъ очень мѣли ея храбрость удивила. Лежить и разговариваетъ съ Казеевымъ. Казеевъ словами душитъ, а она хоть бы что,—все спрашиваетъ про дворника: „Онъ ли насъ подвелъ!“ Не ждалъ бы себѣ петли, — не убилъ бы, кажется. Ну, да своя жизнь дороже. Зашелъ я такъ сзади, чтобы она не видала, размахнулся... Въ одинъ махъ кончилъ. Мальчикъ тутъ на постели вскочилъ. Ротъ раскрылъ, руки вытянулъ, глаза такіе огромные сдѣлались. Я къ нему...

Полуляховъ остановился.

— Рассказывать ли дальше? Скверный ударъ былъ...

— Какъ знаешь...

— Ну, да ужъ началъ, надо все... Ударилъ его топоромъ, хотѣлъ въ другой разъ, — топоръ поднялъ, а вмѣстѣ съ нимъ и мальчика, топоръ въ черепъ застрялъ. Кровь мнѣ на лицо хлынула. Горячая такая... Словно кипяткомъ... Обожгла...

Я съ трудомъ перевелъ духъ. Если бы не боязнь показать слабость передъ преступникомъ, я крикнулъ бы „воды“. И чувствовалъ, что все поплыло у меня передъ глазами.

— Вотъ видите, барины, и вамъ нехорошо... — раздался тихій голосъ Полуляхова.

Онъ сидѣлъ передо мной блѣдный, какъ полотно, со странными глазами глядя куда-то въ уголъ; щеки его вздрагивали и подергивались.

Мы бесѣдовали позднимъ вечеромъ вдвоемъ въ тюремной канцеляріи. Вслѣдъ за Полуляховымъ и я съ дрожью посмотрѣлъ въ темный уголъ.

— Страшно было!—сказалъ, наконецъ, Полуляховъ послѣ долгаго молчанія, проводя рукой по волосамъ. — Мнѣ этотъ мальчикъ и теперь снится... Никто не снится, а мальчикъ снится...

— Зачѣмъ же было мальчика убивать?

— Изъ жалости.

И лицо Полуляхова сдѣлалось опять кроткимъ и добрымъ.

— Я и объ немъ думалъ, когда по комнатѣ ходилъ. Оставить или нѣтъ? „Что же, — думаю, — онъ жить останется, когда такое видѣлъ? Какъ онъ жить будетъ, когда у него на глазахъ мать убили?“ Я и его... жаль было... Ну, да о своей головѣ тоже подумать надо — мальчикъ большой, свидѣтель. Тутъ во мнѣ каждая жила заговорила, — продолжалъ Полуляховъ, такое возбужденіе было, такое возбужденіе, — себя не помнилъ. Всѣхъ перебить хотѣлъ. Выскочилъ въ срединную комнатку, поднялъ топоръ: „Теперь, — говорю, — по-настоящему мнѣ и васъ убить надоть. Чтобы никого свидѣтелей не было. Видите, сколько душъ не изъ-за чего погубилъ. Чтобы этимъ и кончилось: другъ друга не выдавать. Чтобы больше не изъ-за чего людей не погибало. Держаться другъ друга, не проговариваться“. Глянулъ на Казеева: бѣлье полотна, а Пирожкова стоитъ, какъ былинка качается. Жаль мнѣ ее стало, я ее и обнялъ. И началъ цѣловать. Уже очень тогда во мнѣ каждая жила дрожала. Никогда, кажется, никого такъ не цѣловалъ.

Этотъ убійца, съ залитымъ кровью лицомъ, обнимающій сообщницу въ квартирѣ, заваленной трупами, — это казалось бы чудовищнымъ вымысломъ, если бы не было чудовищной правдой.

— И любилъ я ее тогда и жалко мнѣ ее было, жалко...

— Ну а теперь гдѣ Пирожкова? — с росилъ я Полуляхова.

— А чортъ ее знаетъ, гдѣ! Гдѣ-то здѣсь же, на Сахалинѣ!

— Она тебя не интересуешь?

— Ни капли.

А Пирожкова изъ любви къ Полуляхову не захотѣла пойти ни къ кому въ сожительницы и была отправлена въ дальнія поселья, на голодъ, на нищету...

Въ ту же ночь Полуляховъ, Пирожкова и Казеевъ исчезли изъ Луганска. Они жили по подложнымъ паспортамъ. И полиціи никогда бы не удалось открыть убійцъ, если бы въ дѣло не вмѣшался паcыночъ Арцимовича.

Молодой человекъ, задавшись цѣлью отыскать убійцъ матери и отчима, объѣхалъ нѣсколько южныхъ городовъ, искалъ вездѣ. Переодѣтый, онъ посѣщалъ притоны, сходилъ съ темнымъ людомъ.



И вотъ, въ одномъ изъ ростовскихъ притоновъ онъ услышалъ о какомъ-то громилѣ, который кутилъ, продавалъ дѣшныя вещи, поминалъ что-то, пьяный, про Луганскъ.

По указаніямъ молодого человѣка, этого громилу арестовали.

Это былъ Казеевъ.

Казеевъ былъ потрясенъ, разбитъ страшнымъ убійствомъ. Онъ мечталъ о перемѣнѣ жизни. Ему хотѣлось бросить „свое дѣло“ и поступить въ сыщики.

Эта мечта бросить „свое дѣло“ и сдѣлаться сыщикомъ — довольно обычная у профессиональных преступниковъ.

Ихъ часто ловятъ на эту удочку.

— Ты малый способный, дѣльный, знаешь весь этотъ народъ, — мы тебя въ <sup>агентахъ</sup> оставимъ.

— Ровно рыба — дураки! — съ презрительной улыбкой говорить Полуляховъ. — Одну рыбу на крючокъ поймали, и другая на тотъ же крючокъ лѣзетъ.

— Какъ же они вѣрятъ?

— Что жъ людямъ остается, какъ не вѣрить? Человѣкъ заблудился въ лѣсу, видитъ — выхода нѣтъ. Тутъ человѣкъ каждому встрѣчному довѣряется. Можетъ, тотъ его въ чащу завести хочетъ и убить, а онъ идетъ за нимъ. Потому все одно выхода нѣтъ.

Заблудившись въ преступленіяхъ, Казеевъ повѣрилъ, что его помилуютъ и оставятъ въ сыщикахъ, и выдалъ Полуляхова и Пирожкову, указавъ, какъ ихъ найти, будучи совершенно увѣренъ, что ихъ „за убійство судьи безпремѣнно повѣсятъ“.

„Товарищъ“ среди преступниковъ на волѣ и въ каторгѣ, это, какъ они говорятъ, „великое слово“. Выдать или убить товарища, это — величайшее преступленіе, которое только можетъ быть. За это смерть.

И вотъ Полуляхова и Казеева посадили въ одну камеру и заперли.

— Ну, что жъ, Ваня, теперь мы съ тобой дѣлать будемъ? — спросилъ его Полуляховъ.

Казеевъ молчалъ.

Только колотило его всего. Сидимъ — молчимъ. Я на него во всѣ глаза смотрю, — онъ въ уголь глядитъ. Принесли обѣдъ, — не притронулся. Ужинъ въ шесть подали, — не притронулся. Ночь пришла. Я легъ, лежу, не сплю. А онъ сидитъ. Измученный, только-только не падаетъ, а спать лечь боится. Уснетъ и убью. Жалко мнѣ на него смотрѣть стало, жалость взяла. Закрывъ я глаза, притворился, что заснулъ, захрапѣлъ. Я никогда во снѣ не храплю и

не люблю, когда другіе храпятъ, — проищевъ мнѣ тогда человѣкъ. А тутъ будто захрапѣлъ, чтобъ онъ успокоился. Слышу, — дожится и, словно топоръ въ воду, заснулъ. Проснулся я утромъ раньше его, посмотрѣлъ, ровно младенецъ спитъ. Толкнулъ я его: „Вставай, Ваня“. Вскочилъ, смотритъ на меня, глаза вытаращилъ, удивленно какъ. Кругомъ оглядывается. Я даже засмѣялся. „Живъ! живъ! — говорю. — Вотъ что, Ваня. Глупость сдѣлали, — не будемъ говорить: теперь намъ надо не о прошломъ, а о будущемъ думать. Что бы ни было, чтобъ все вмѣстѣ. Были товарищами, и будемъ товарищами. Понялъ?“ Заплакалъ онъ даже.

— Такъ я и въ каторгу попалъ. Убилъ бы ихъ тогда въ домъ гг. Арцимовичей, и ничего бы и не было! — вздохнулъ Полуляховъ. — Да жалость меня тогда взяла. За это и въ каторгу.

Судъ надъ убійцами Арцимовичей производилъ ужасное впечатлѣніе. Полуляховъ держалъ себя съ безпримѣрнымъ цинизмомъ; рассказывая объ убійствѣ, онъ прямо издѣвался надъ своими жертвами, хвастался своимъ спокойствіемъ и хладнокровіемъ.

— Зло мени брало. Повѣсите? Такъ нате жъ вамъ!

Полуляховъ все время ждалъ смертнаго приговора.

— Какъ встали всѣ, начали читать приговоръ, у меня голова ходуномъ пошла. Головой даже такъ дернула, будто веревка у меня передъ лицомъ болтается. Однако думаю: „Поддержись теперь, братъ, Полуляховъ. Уходить съ этого свѣта, — такъ уходить!“ И самъ улыбнуться стараюсь.

Когда прочли „въ каторжныя работы“, Полуляховъ „даже ушамъ своимъ не повѣрилъ“.

— Гляжу кругомъ, ничего не понимаю. Ослышался? Сплю? Изъ суда вышелъ, словно съ петли сорвался. Отъ воздуха даже голова было закружилась и тошно сдѣлалось.

Когда преступниковъ, среди толпы, вели изъ суда, вдругъ раздался выстрѣлъ. Пасынокъ Арцимовича выскочилъ изъ толпы и почти въ упоръ выстрѣлилъ въ Полуляхова изъ револьвера.

— А я-то въ эту минуту въ толпу кинулся!

Пуля пролетѣла мимо.

— Такой ужъ фартъ (счастье)! — улыбаясь, замѣчаетъ Полуляховъ.

Стрѣлязнаго схватили, а Полуляховъ, какъ только его привели въ острогъ, сейчасъ же потребовалъ смотрителя и заявилъ, чтобъ пасынка Арцимовича освободили:

— Потому что я на него никакой прѣтензіи не имѣю.

— Почему жъ такая забота о немъ! Благородство, что ли, хотѣлъ доказать?

— Какое же тутъ благородство?—пожалъ плечами Полуляховъ.— Я его мать убилъ, а онъ меня хотѣлъ. На его мѣстѣ и я бы такъ сдѣлалъ.

Когда Полуляхова и Казеева везли на Сахалинъ, ихъ держали торознь. Всѣ арестанты говорили:

— Полуляховъ безпремѣнно пришьетъ Казеева.

Но это было лишней предосторожностью. Они снова были „товарищами“.

— На Ваню у меня никакой злобы не было. Вмѣстѣ дѣлали, вмѣстѣ въ бѣду попали, вмѣстѣ надо было и уходить.

Ихъ посадили въ одинъ и тотъ же номеръ Александровской кандалной тюрьмы, и „товарищи“ взяли себѣ рядомъ мѣста на нарахъ.

— Ваня отъ меня ни на шагъ. Каждый кусокъ пополамъ.

Эта погрѣбность имѣть кого-нибудь близкаго съ невѣроятной силой просыпается въ озлобленныхъ на все и на вся каторжаняхъ. Только въ институтахъ такъ „обожаютъ“ другъ друга, какъ въ кандалныхъ тюрьмахъ. Доходить до смѣшного и до трогательнаго. Въ бѣгахъ, въ тайгѣ, полуумирающій съ голоду каторжникъ половину послѣдняго куска хлѣба отдаетъ товарищу. Самъ идегъ и сдается, чтобъ только подобрали раненаго или заболѣвшаго товарища. Цѣлыми днями несутъ обезсилѣвшаго товарища на рукахъ. У самого едва душа въ тѣлѣ держится, а товарища на рукахъ тащитъ. Пройдегъ нѣсколько шаговъ, задохнется, присядетъ, — опять беретъ на руки и несетъ. И такъ сотни верстъ, и такъ черезъ непроходимую дикую тайгу.

„Убийца пяти человѣкъ“,—это ровно ничего не значить для каторги:

— Тамъ-то мы всѣ храбры. Ты вотъ здѣсь себя покажи.

Убийства, совершенныя „на волѣ“, въ каторгѣ не идутъ въ счетъ. Каторгу не удивишь, сказавъ: „убилъ столько-то человѣкъ“. Каторга при этомъ только спрашиваетъ:

— А сколько взялъ?

И, если человѣкъ „взялъ“ мало, каторга смѣется надъ такимъ человѣкомъ, какъ смѣется она надъ убійцей изъ ревности, изъ мести, вообще, надъ „дураками“.

— Оглобля! Безъ „интересу“ на „преступленье“ пошелъ. Для каторги „знаменитыхъ“ убійцъ нѣтъ. Тутъ не похващаешься убійствомъ 5 человѣкъ, когда рядомъ на нарахъ лежитъ Пашенко, за которымъ официально числится 32 убійства!

Положеніе Полуляхова, которымъ ужасались на судѣ, въ каторжной тюрьмѣ было самое шаткое.



— Пять человѣкъ убилъ, а сколько ваялъ, стыдно сказать!

Его выручало нѣсколько только то, что онъ, „судью“, такого человѣка убилъ.

— Значить, на веревку шелъ!

Это вселяло все-таки нѣкоторое уваженіе: каторга уважаетъ тѣхъ, кто такъ рискуетъ, и боится только тѣхъ, кто самъ ничего не боится.

Когда я былъ на Сахалинѣ, Полуляховъ пользовался величайшимъ уваженіемъ въ тюрьмѣ. Осовершонномъ имъ побѣгъ говорили съ величайшимъ почтеніемъ.

— Вотъ это такъ человѣкъ!

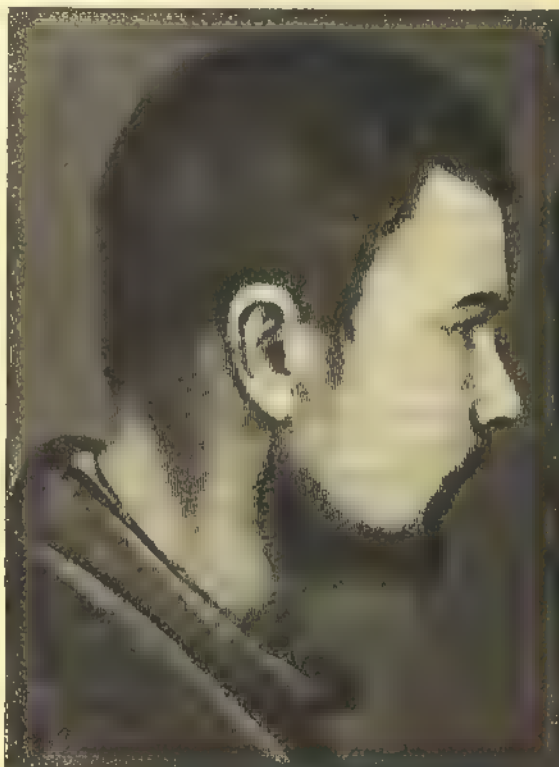
Побѣгъ былъ одинъ изъ самыхъ дерзкихъ, отчаянныхъ, безумныхъ, по своей смѣлости.

Полуляховъ съ Казеевымъ и еще тремя арестантами бѣжали среди бѣлаго дня, на глазахъ у всѣхъ.

— Съ вечера легли, шепнулъ Казееву: „Ваня, завтра уходимъ“.

„Какъ?“ спрашиваетъ. „Молчи, — говорю, — и всякую минуту будь готовъ, или уйдемъ, или вмѣстѣ смерть примемъ“. — „Что жъ! — шепчетъ. — Куда ты, туда и я“.

Пятеро арестантовъ, съ однимъ конвойнымъ, были на работѣ на самомъ бойкомъ мѣстѣ большой проѣзжей дороги, около самаго поста Александровскаго. Время было не „бѣговое“, и арестанты кандалнаго отдѣленія были безъ кандаловъ. По дорогѣ ходило много народу, безпрестанно туда и сюда проѣзжали чиновники, про-



Убийца семьи Арцимовичей, Полуляховъ.

ходили солдаты. Какъ вдругъ Полуляховъ кинулся на конвойнаго, однимъ ударомъ сбиль его съ ногъ, вырвалъ ружье и, крикнувъ: „Ваня, уходи!“—бросился въ опушку лѣса.

Это видѣла масса народу, бывшаго на дорогѣ. Ударили тревогу. Отсюда два шага до поста,—и въ нѣсколько минутъ приближавшая команда разсыпалась по лѣсу.

И вотъ, въ то время, когда солдаты углубились въ лѣсъ, на вершинѣ сосѣдняго, совершенно голаго холма, одинъ за другимъ, въ обычномъ бродяжескомъ порядкѣ, показалось пять фигуръ. Передній шелъ съ ружьемъ на плечѣ. Это былъ Полуляховъ съ товарищами.

На дорогѣ въ это время стояли чиновники. Ружья ни у кого не было, револьвернымъ выстрѣломъ было не достать, и на глазахъ у начальства, на глазахъ у всего поста Александровскаго, по открытому мѣсту бродяги прошли, зашли за холмъ и скрылись въ тайгѣ.

Весь постъ Александровскій былъ перепуганъ.

— Если ужъ среди бѣла дня при конвоѣ бѣгать стануть!

Озлобленіе противъ бѣглецовъ было страшное. Бродяги, да еще съ огнестрѣльнымъ оружіемъ, держали въ ужасѣ весь Александровскъ. Страшно было выѣхать.

— Ну, ужъ поймають, спуска не дадутъ.

Тюрьма жила лихорадочной жизнью, не было другихъ думъ, другихъ разговоровъ:

— Что слышно?

Дней десять ничего не было слышно. Тюрьму, которая ликуеть при всякомъ удачномъ побѣгѣ, охватывала радость:

— Ну, теперь ушли! Ищи вѣтра въ полѣ!

Но остальное дрожало отъ злости;

— Да неужели же такъ имъ и пройдетъ?

Наконецъ присло извѣстіе, что на Камышевскомъ перевалѣ убили Казеевъ.

При вскрытіи, кромѣ раны, у него оказалась масса поврежденій.

Полуляховъ рассказываетъ, какъ убивали Казеева.

Камышевскій перевалъ, по дорогѣ изъ поста Александровскаго въ селеніе Дербинское,—мѣсто, гдѣ часто ютятся бѣглецы. Когда проѣзжаютъ это мѣсто, вынимають обыкновенно револьверы. Дорога спускается въ ложбинку и идетъ между кустарниками. Направо и нѣлѣво страшныя кручи огромныхъ, отвѣсныхъ почти горъ, поросшихъ мачтовымъ, прямымъ какъ стрѣла, сосновымъ лѣсомъ.

По этому-то крутому спуску перебираясь отъ дерева къ дереву гуськомъ, и сходили бродяги. Впереди шелъ Казеевъ, за нимъ Полуляховъ.

Какъ вдругъ изъ-за кустовъ, съ дороги грянулъ выстрѣлъ. Перебѣгавшій отъ дерева къ дереву Казеевъ закричалъ и полетѣлъ внизъ. Полуляховъ притаился за сосной и ждалъ съ секунды на секунду новаго выстрѣла. Но его не замѣтили.

Вниманіе стрѣлявшихъ было отвлечено полетѣвшимъ съ откоса Казеевымъ.

— Слышу внизу подъ горой голоса. Выглянулъ я изъ-за сосны, — внизу прогалинка межъ кустовъ, а на прогалинкѣ Ваня лежитъ, барахтается, встать все хочетъ. Люди его окружили. Ваня все стоялъ. „Пить, — кричалъ, — водицы, Христа ради, дайте!“... — „И такъ, — говорятъ, — сдохнешь“.

Просидѣвъ за деревьями до вечера, четверо бродягъ ушли. Слухъ о нихъ дошелъ не скоро. Они подались въ тайгу, шли голодные, истощавшіе, прямо, цѣлиной, тамъ, гдѣ не бывала нога человѣческая, тундрой. Ружье пришлось бросить, — на подѣ силу было нести. И, наконецъ, отошавшіе, изодранные въ тайгѣ, въ крови искусанные мошкаркою въ тундрѣ, вышли на селеніе Вяльзы.

— Выходимъ, — пастухъ тр хъ коровенокъ пасть. Мы къ нему, такъ и такъ: нѣтъ ли чего поѣсть? Онъ испугался, дрожить, какъ осиновый листъ; мы ему: „Не бойся, молъ, ничего тебѣ не сдѣлаемъ. Гдѣ ужъ намъ! Видишь, небось, какіе мы“. Оправился: „Хорошо, — говоритъ, — вотъ въ полдни погоню животинъ въ поселокъ, принесу хлѣбушка. А вы меня вотъ тутъ ждите“. Отпустили мы его въ полдн. Сидимъ, ждемъ. Только смотримъ, бѣгутъ отъ поселка поселенцы, кто съ ружьемъ, — охотники они, — кто съ вилами, кто со слогой, кричатъ, руками машутъ, а впередъ пастухъ нашъ рукой указываетъ на наши, стало-быть, кусты. Это опъ, подлѣя душа, вмѣсто того, чтобы хлѣбушка принести, взялъ да всю деревню забулгачилъ. За то, думать надо, что мы его пожалѣли и не пришли. Пришли бы его, коровенку зарѣзали, вырѣзали бы мяса, сколько нужно, — и все. А то жалъ старика было. Онъ на насъ поселенцевъ и поднялъ: „Бродяги, — говоритъ, — пришли, ѣсть просятъ, голодные.“ А ежели голодные, значить, убить надо. Потому голодный человѣкъ и корову зарѣзать можетъ. А у нихъ тутъ, передъ этимъ, коровенку бродяги, дѣйствительно, зарѣзали. Озлоблены на бродягъ были. „Бей, — кричатъ, — ихъ такихъ-сякихъ на смерть!“ Мы было въ бѣгъ. Да одинъ выстрѣлилъ, мнѣ руку прошибъ. Слозно палкой изъ всѣхъ силъ шибануло, — я и свалился.



Пуля прошла въ мякоти, около лучевой кости лѣвой руки, навлетѣть.

— А другіе, тѣ прямо на землю легли. „Сдаемся,—кричатъ,— не бейте!“ Били, однако, страхъ какъ. „Не рѣжь,—кричатъ,—коровъ!“ Ровно звѣрье. Люди имъ ничего не сдѣлали, а быють...

— Такъ безъ сопротивленія и сдались?

— Какое жъ сопротивленіе? Да и то сказать, и поселенцевъ этихъ жалъ. Въ Сибири, говорятъ, тамъ другіе порядки. Тамъ къ мужику бродяга смѣло идетъ: сибирскій мужикъ ему всегда хлѣба вынесетъ, потому что хлѣбъ есть. А здѣсь, одно слово, Сакалинъ. Голодь. Ему сыну-то кусокъ хлѣба дать жутко: самъ съ голода мрежъ. Ему бродяга первый врагъ. Приходитъ голодный къ голодному,—ему и страшно: никакъ, онъ еще голоднѣй меня? Бродяга съ готоду и впрямь коровенку зарѣжетъ. А безъ коровенки поселенцу что? Смерть! Последняго живота лишишь. Въ казну за коровенку выплачивай, а животины нѣтъ. Все, что есть, въ разоръ пойдетъ. Тутъ вонъ одинъ поселенецъ повѣсился, когда у него коровенку зарѣзали. Ну, и быють: они еще голоднѣе насъ.

— Лежу я, кровь моя льется, и зло меня беретъ, и жалость... жалко мнѣ этихъ поселенцевъ, жалко ..

Эти люди, убивающіе другихъ, ужасно любятъ вызывать въ себѣ чувство жалости. Имъ правится эго ощущеніе, они чувствуютъ себя тогда такими добрыми, хорошими, имъ кажется, быть-можетъ, въ эти минуты: „Какой я, въ сущности, добрый, хорошій, славный человѣкъ! Какая я прелесть!“ А кому не хочется подумать о себѣ съ умиленіемъ? Похвастать именню тѣми добродѣтелями, которыхъ у него нѣтъ?

— Жалко! —этотъ мотивъ постоянно звучить въ разговорахъ Полуляхова, убившаго топоромъ в сѣмилѣтняго ребенка.

И, когда онъ говоритъ это „жалко“, въ его лицѣ есть что-то умиленное, кроткое. Онъ самъ трогается своей добротой.

— Ну, а въ Бога вы вѣруете?—спросилъ я однажды Полуляхова.

— Нѣтъ. Я по Дарвину! отвѣчалъ Полуляховъ.

— Какъ? Вы Дарвина знаете?

Это ужъ я здѣсь, въ тюрьмѣ, узналъ. „Борьба за существованіе“ это называется. Человѣкъ ѣстъ птицу, птица ѣстъ мышку, а мышка еще кого-нибудь ѣстъ. Такъ оно и идетъ. „Круговоротъ веществъ“ это называется. И человѣкъ ѣстъ птицу не потому, что онъ на нее золъ, а потому, что ему ѣстъ хочется. А какъ птица отъ этого, —онъ не думаетъ: ему ѣстъ хочется, онъ и ѣстъ. И птица не думаетъ, каково мышкѣ, а думаетъ только, что ей нужно. Такъ

и всё. Одинъ ловить человѣка, который ему ничего не сдѣлалъ. Другой судить и въ тюрьму сажаетъ человѣка, который ему ничего дурного не сдѣлалъ. Третій жизни лишаетъ. Никто ни на кого не злѣ, а просто всякому вѣсть хочется. Всякій себѣ, какъ можетъ, и добываетъ. Это и называется „борьбой за существованіе“.

— Ну, хорошо, Полуляховъ. Будемъ по Дарвину. А теорія приспособленія какъ же? Долженъ же человѣкъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе, среди людей живя, приспособиться къ ихъ условіямъ, требованіямъ, законамъ общежитія?

— Приспособленія?—задумался Полуляховъ.—Не ко всему приспособиться можно. Къ гаторгѣ, наприимѣръ, не приспособишься. Я такъ думаю, что человѣкъ приспособляется только къ тому, что ему пріятно. А ко всему остальному чтобъ приспособиться — терпѣніе нужно. А у меня терпѣнія нѣтъ. Эта самая „теорія приспособленія“, какъ вы говорите, для меня не годится.

Такъ разсуждаетъ о „господинѣ Дарвинѣ“ этотъ человѣкъ, и Дарвина понявшій съ волчьей точки зрѣнія.

— Скажите, если только правду сказать хотите, — спросилъ меня однажды Полуляховъ, — далеко отсюда до Америки?

Я принесъ ему карту.

Онъ долго смотрѣлъ на карту, мѣрялъ бумажкой по масштабу Великій океанъ и Сибирь и, наконецъ, улыбнулся.

— Н-да, выходитъ не то! И сюда пойдешь — вода. И сюда пойдешь — земля. А что вода, что земля, когда ее много, все одно. Что воды въ ротъ нальется, что землю съ голоду вѣсть, — все одинъ чертъ! И направо пойдешь — смерть, и налево пойдешь — смерть, и на мѣстѣ останешься — смерть. Чисто въ сказку попалъ. Да и сказокъ такихъ страшныхъ нѣтъ! — разсмѣялся онъ.

Таковъ этотъ человѣкъ, почти юноша, взятый изъ городской школы и разговаривающій о Дарвинѣ, убившій въ свою жизнь шестерыхъ, — безконечно жалостливый человѣкъ.

Когда Полуляхова увозили изъ Харькова, былъ такой случай.

На желѣзной дорогѣ была родственница покойныхъ Арцимо-вичей. Она не знала, что съ партіей отправляютъ убійцъ ея родныхъ.

Когда проходила партія, между публикой, какъ это всегда бываетъ, зашелъ разговоръ на тему:

— Сколько, чай, невинныхъ людей идетъ!

— Вотъ этотъ, наприимѣръ, молодой мужичокъ. Я пари готова держать, что онъ идетъ невинный. Вы посмотрите на него. Ну, развѣ можно съ такимъ лицомъ быть преступникомъ! — сказала

родственница Арцимовичей и обратилась къ одному изъ знакомыхъ. — Нельзя ли узнать, за что онъ осужденъ?

— Скажите, пожалуйста, кто это такой? — спросилъ знакомый у конвойнаго офицера.

— Это? Это Полуляховъ, убійца Арцимовичей.

Родственница несчастныхъ закричала и упала въ обморокъ.

Когда я рассказалъ этотъ эпизодъ Полуляхову, онъ задумался.

— Позвольте... Позвольте... Припоминаю... Когда насъ гнали, какая-то женщина закричала благимъ матомъ и упала. Я еще тогда обернулся, посмотрѣлъ... Такъ это она отъ меня? Родственница, стало-быть, покойныхъ?.. Скажите, пожалуйста! А я не обратилъ вниманія... Мало ли ихъ орутъ. Думалъ, чья родственница, или

Полуляховъ улынулся:

— Или по мнѣ какая оретъ „изъ бывшихъ моихъ“. Много ихъ было у меня и въ Харьковѣ!

### **Знаменитый московскій убійца.**

Въ Александровской кандалной тюрьмѣ нельзя не обратить вниманія на худенькаго, тщедушнаго, болѣзненнаго человѣка съ удивительно страдальческимъ выраженіемъ въ глазахъ. Онъ выдается своимъ жалкимъ видомъ даже среди арестантовъ. Чѣмъ-то въ конецъ замученный человѣкъ.

— Кто это?

— Викторъ.

И сахалинское начальство, при всемъ своемъ презрѣніи къ каторгѣ, все же нѣсколько гордящееся имѣющимися въ тюрьмѣ „знаменитостями“, добавитъ:

— Знаменитый московскій убійца!

Лѣтъ десять тому назадъ „загадочное убійство въ Москвѣ“ гремѣло на всю Россію.

Въ іюлѣ, въ Брестъ-Литовскѣ, на станціи желѣзной дороги, среди „нестребованныхъ грузовъ“, отъ одной корзины начало исходить страшное зловоніе.

Корзину вскрыли, и „глазамъ присутствующихъ, — какъ пишется въ газетахъ, — представилось полное ужаса зрѣлище“.

Въ корзинѣ, обтянутой внутри клеенкой, лежалъ разрубленный на части трупъ женщины. Щеки были вырѣзаны. Мѣтки на бѣлѣхъ отрѣзаны. Страшная посылка была отправлена изъ Москвы 2 іюля.

Вся московская сыскная полиція была поставлена на ноги.



Искали, искали, — и безуспешно. Слѣда, казалось, никакого не было.

Въ то время начальникомъ сыскной полиціи въ Москвѣ былъ нѣкто Эффенбахъ, пользовавшійся славой „Лекока“.

Онъ обратилъ вниманіе на три обстоятельства. По бѣлью, которое было найдено въ корзинѣ, по „убогой роскоши“ его, онъ вывелъ заключеніе,

что покойная, скорѣй всего, была прости-гутькой. Затѣмъ его вниманіе остановило то, что и фамилія отправителя „груза“, конечно, вымышленная, и вымышленная фамилія „получателя“ начинаются на букву „В“. Растеряиваемуся, взволнованному человѣку почему-то инстинктивно приходили въ голову только фамиліи, начинавшіяся на букву „В“. А можетъ-быть, это было легкое насмѣшливое заигрыванье со стороны преступника. Преступникъ, у котораго все отлично идетъ, иногда начинаетъ куражить-



Знаменитый московскій убійца Викторовъ Николай.

ся, не прочь „подпустить насмѣшку“, любить оставить что-то въ родѣ визитной карточки, маленькій, сейчасъ же теряющійся слѣдъ. „На, моль, ищи“. Наконецъ вмѣстѣ съ трупомъ въ корзинѣ лежала окровавленная деревянная плаха, на которой, очевидно, разрѣзали трупъ. Такими плахами топятъ печи въ трактирахъ и меблированныхъ комнатахъ.

Провѣрили по спискамъ всѣхъ московскихъ проститутокъ и оказалось, что одна изъ нихъ, жившая въ домѣ Веткина, по Петровскому бульвару, уѣхала на родину.

Сама она передъ отъѣздомъ домой не заходила около недѣли. А 3 іюля къ ней на квартиру зашелъ ея знакомый Викторовъ, сказалъ, что она спѣшно уѣхала въ деревню и велѣла ему взять вещи.

Викторовъ содержалъ меблированныя комнаты на углу Брюсова переулка и Никитской и служилъ контролеромъ на скачкахъ.

За нимъ послали на скачки, привезли въ сыскное отдѣленіе и ввели въ комнату; на столѣ были разложены: корзина, клеенка, окровавленное бѣлье.

Увидавъ эти вещи, Викторовъ „остолбенѣлъ“, затѣмъ затрясся, заплакалъ и сознался.

Отецъ Викторова, когда Викторовъ былъ еще маленькимъ, застрѣлился въ припадкѣ помѣшательства. Сестра Викторова страдала сильными истерическими припадками. Братъ Викторова, — уже послѣ того, какъ Викторовъ былъ пойманъ, — сошелъ съ ума: постоянно бредилъ, что пьетъ съ братомъ Николаемъ на Сахалинѣ чай.

Викторовъ до семи лѣтъ не говорилъ. О немъ уже не въ первый разъ трубили газеты: въ 1883 году онъ тоже былъ „московской знаменитостью“. Тогда ему было 30 лѣтъ, и онъ впалъ въ летаргическій сонъ, продолжавшійся 12 сутокъ. Его чуть-чуть не похоронили, и „живымъ покойникомъ въ Маріинской больницѣ“ интересовалась вся Москва.

Викторовъ прошелъ только 2 класса московскаго мѣщанскаго училища.

— Не способенъ былъ-съ. Русский языкъ-съ мнѣ не давался!

Съ 12 лѣтъ онъ началъ пить, 15—познакомился съ развратомъ. Лѣтъ 20 заболѣлъ дурной болѣзью.

Родные Викторова — люди съ недостаткомъ. Всѣ они, — кто держитъ меблированныя комнаты съ „этими дамами“, кто публичный домъ.

Съ дѣтства онъ стоялъ близко къ темному міру, соприкасался съ нимъ.

Въ 1881 году онъ былъ осужденъ на 4 мѣсяца въ рабочій домъ за кражу.

Въ 1881 же году былъ замѣшанъ въ убійствѣ дворянки Накатовой и кухарки ея Похвисневой.

— Убійства не совершалъ-съ... но къ убійству стоялъ довольно близко-съ...

Въ 1883 году онъ ушелъ бродяжить. Бродяжилъ 8 лѣтъ, затѣмъ открылся, вернулся въ Москву, получилъ наслѣдство, около 3 тысячъ, и завелъ себѣ меблированныя комнаты.

Убитая дѣвушка жила въ публичномъ домѣ его тетки, потомъ „вышла на волю, занималась своимъ дѣломъ“ и жила съ нимъ.

— Вы что же, Викторовъ, были ея „котомъ“?

— Не совсѣмъ чтобы... Какъ намъ сказать?.. Денегъ я ей, конечно, не платилъ... Любовникомъ-съ былъ... Но и на ея деньги не жилъ... Такъ иногда кое-что бралъ... Больше на игру-съ!

Три года онъ служилъ контролеромъ тотализатора на скачкахъ и велъ игру.

— Только-съ и жилъ-съ!—съ грустной улыбкой говорить онъ.

Зимой-съ, такъ сказать, прозябалъ въ неопленной квартирѣ... Часто меблированныхъ комнатъ топить было печѣмъ... А лѣто придетъ-съ, скачки, — и оживаешь-съ. Цѣльное лѣто въ игрѣ живешь. Берешь на скачки рублей 150—200, всѣми мѣрами достаешь, — когда продашь все вдребезги, когда 500—600 принесешь! Такъ и жилъ-съ. Въ полугарѣ.

Въ Москвѣ, гдѣ скачки лѣтомъ заполняютъ все и вся, много людей, которые „цѣлое лѣто въ игрѣ живутъ“, а все остальное время „прозябаютъ“.

Замѣчательно, что въ каторгѣ, которая полна игроками, Викторовъ не играетъ. Я спрашивалъ о немъ:

— Не играетъ!.. Какой игрокъ!.. Иногда подойдетъ, когда играемъ, поставить семитку, — ему чтобы на сахаръ выиграть... Выиграетъ гривенникъ и отойдетъ... Да и то рѣдко.

Я спрашивалъ Викторова:

— Какъ же это такъ? Такой игрокъ былъ, а здѣсь не играете?

— Не интересуюсь.

— А тамъ отчего же игралъ?

— Говорю вамъ, въ полугарѣ былъ. Только скачками и дышалъ.

Потому близко стоялъ—и контролеромъ былъ. Въ самой центрѣ-съ! Кругомъ ставятъ деньги, берутъ, въ двѣ минуты сотельныя бумажки берутъ, — ну, и я-съ! Очухаться не могъ-съ. Полугаръ. Не успѣлъ отъ выигрыша или проигрыша очухаться, — афиша. Завтра скачки. Обдумываешь, раздумываешь, по трактирамъ идешь, въ трактиръ „Охту“ съ конюхами совѣтоваться, играешь, спозаранку встаешь, на разсвѣтъ на утренніе галопа бѣжишь. О лошадяхъ только и думаешь, лошади и во снѣ сняты. Не видишь, какъ лѣто пролетаетъ.

Таковъ этотъ болѣзненный, до семи лѣтъ не говорившій, въ летаргическомъ снѣ лежавшій, съ несомѣнно-болѣзненной наслѣдственностью человѣкъ, принесшій въ міръ столько ужаса и горя. При такихъ условіяхъ росъ, воспитывался и формировался этотъ знаменитый убійца“.



Время около Петрова дня, 29 июня, время горячее для московских игроковъ: въ это время разыгрывается „Всероссійскій Дерби“ Генеральное сраженіе въ тотализаторѣ.

— Шибко я въ тѣ поры въ неврахъ былъ-съ. Кто возьметъ? На кого ставить? Одинъ говорить—на ту, другой—на другую. Слуховъ не оберешься. Газеты возьмешь, никакого толку, разное пишутъ. Та въ формы не вошла, та не готова, пишутъ, — ту еще работать надо. Просто голова идетъ кругомъ. Мѣста себѣ не найдешь. Играть надо, а время, сами изволите знать, что за время лѣто для меблированныхъ комнатъ? Два номера заняты, ремонтъ идетъ, расходы. А тутъ „Дерби“. Прямо — ума рѣшайся.

Вечеромъ, въ Петровъ день, Настя ночевала у Викторова. Около часа ночи они лежали въ постели. „Оба выпимши“, и говорили о скачкахъ. Викторовъ упрашивалъ, чтобы она заложила еще вещей:

— Надо же играть!

Она попрекала Викторова, что онъ и такъ проигралъ у нея все. Слово за слово, — Настя дала Викторову пощечину, Викторовъ схватилъ стоявшій около на ночномъ столикѣ подсвѣчникъ и ударилъ ее.

— Помертвѣла вся... Не кинула... Батюшки, смотрю, — въ високъ!.. Умерла... А вдругъ очнется, кричать примется... Стою надъ ней... Лежитъ, не шелохнется... Прошло минутъ пять... Схватилъ руку: теплая... не холодѣетъ... Очнется... Пропадешь!.. Страхъ меня взялъ-съ...

Викторовъ схватилъ ножикъ и перерѣзалъ ей горло.

— Не знаю, убилъ ли... Не знаю... Нѣтъ ли... А только такъ рѣзалъ, со страху, для вѣрности... Сяжу-съ, смотрю и думаю-съ, что же теперь дѣлать-съ... Тутъ мнѣ корзина въ глаза и кинулась. Родственникъ долженъ былъ я мѣховыя вещи высылать... Корзина, клеенка и камфара, чтобы пересыпать, были заготовлены... Только вещей я выслать не могъ, — были заложены-съ. По причинѣ игры... Думалъ: отыграюсь, выкуплю, пошлю...

У Викторова мелькнула мысль: что сдѣлать.

Босикомъ-съ на цыпочкахъ въ кухню сходилъ... Плаху принесъ, ведро съ водой... Клеенку разстелилъ, плаху положилъ и, какъ слѣдуетъ, все приготовилъ. Только какъ покойницу зашевелилъ, страшно сдѣлалось... Какъ это ихъ за плечики взять, приподнять, голова назадъ откинулась, быдто живая... Горло это раскрылось, рана-съ, и кровь потекла... Быдто — какъ въ книжкахъ читалъ, — какъ убійца до убитаго дотронется, у того изъ ранъ кровь потечетъ... Страшно-съ... Бросилъ... Водки выпилъ, — не беретъ...

Еще водки выпилъ, еще... Повеселѣе стало. Поднялъ я ихъ, на полъ тихонько опустилъ.

Викторовъ, говоря объ убитой, говорить „онѣ“, „покойница“, съ какимъ-то почтениемъ, въ которомъ сквозить страхъ передъ „ней“: „она“ и до сихъ поръ ему снится. Сосѣди по нарамъ жалуются, что Викторовъ вдругъ по ночамъ вскакиваетъ и „оретъ благимъ матомъ“:

— Бѣлый весь, трясется... Все „его-то“ приставляется!

— Положилъ покойницу на плашку и началъ имъ руки, ноги обрѣзывать косаремъ... Косарь острый. Мясо-то рѣжу, а до кости дойдетъ,—ударю потихонько, чтобъ хрюскъ не больно слышно было... Въ другомъ концѣ коридора все же жильцы жили...

Странная игра случая: жильцами Викторова были нѣкіе Г., отецъ и сынъ, служившіе... сыщиками въ московской сыскной полиціи.

— Чтобъ хрюску не было,—все по суставчикамъ, по суставчикамъ... Косарь иступился,—ножницами жилы перерѣзалъ... Щеи имъ вырѣзалъ, чтобъ узнать нельзя было...

— Пилъ водку въ это время?

— Куда жъ! Ручищи всѣ въ крови. Да и не до того было. Только одна мысль въ головѣ была: „Потише! Потуже!“ Такъ и казалось, что вотъ-вотъ сзади подходятъ и за плечи берутъ... Даже руки чувствовалъ... Духъ замреть... Стою на козлѣнкахъ, чувствую, за плечи держать, а глаза поднять боюсь,—зеркало насупротивъ было,—взглянуть... И назадъ повернуться страшно... Отдыхаешься, въ зеркало взглянешь,—никого сзади... И дальше... Изъ бѣлья тоже мѣточки вырѣзалъ... Къ утру кончилъ... Все въ корзину покладъ, камфарой густо-густо пересыпалъ, клеенкой завернулъ, туда же и плашку положилъ, косарь въ ведеркѣ вымылъ, гдѣ съ клеенки на цолъ кровь протекла, замылъ, и воду изъ ведерка въ раковину пошелъ, вылилъ. Прихожу назадъ,—ничего, только камфарой шибко пахнетъ.

— Однажды, когда Викторову, во время разговора, сдѣлалось „нехорошо“,—я далъ ему понюхать первый попавшійся пузырекъ спирта, изъ стоявшихъ на окнѣ въ конторѣ и назначенныхъ для раздачи арестантамъ.

У Викторова сразу „прошло“. Онъ вскочилъ, затрясся, сталъ бѣлымъ, какъ полотно, протянулъ дрожащія руки, отстраняя отъ себя пузырекъ.

— Не надо... Не надо...

— Что такое? Что случилось?

— Ничего... ничего... Не надоть-сь...

Спиртъ, совершенно случайно, оказался камфарный. Я поспѣшилъ закрыть пузырекъ.

— Не могу я этого запаху переносить! виновато улыбаясь, говорилъ Викторовъ, а у самого губы бѣлыя, и зубъ на зубъ не попадетъ.

Такъ врѣзалась ему въ памяти эта камфара.

— Вытащилъ я корзину въ сосѣдную комнату, прибралъ все, и схватилъ меня страхъ сызнова.

Двѣ ночи не могъ спать Викторовъ, пилъ „для храбрости“,— выпилъ „побольше полведра водки“.

— Выпью, захмелѣю и ѣмъ... Ыль съ алекитомъ, потому много пилъ... А протрезвѣю,—страшно.. И выйти боюсь,—сейчасъ воть, думаю, какъ уйду, такъ безъ меня придутъ и откроютъ... И дома сидѣть жутко... Сижу, а мнѣ кажется, что въ сосѣдней комнатѣ кто-то задыхается... Подойду къ двери... Въ комнату-то страшно войти, чтобъ не привидѣлось что... Послушаю у двери,—тихо... Опять сяду водку пить... Опять задыхается... Страхъ такой бралъ!..

2-го іюля онъ, наконецъ, рѣшился выйти. Нанялъ ломовика, привелъ и съ нимъ вмѣстѣ вынесъ корзину изъ квартиры.

— Корзина ничего... только камфарой шибко пахло... Какъ выходилъ, всѣ окна открылъ, чтобы провѣтрило...

Какъ происходила отправка, Викторовъ, послѣ трехъ бессонныхъ ночей, убійства и полведра выпитой водки,—помнить какъ сквозь сонъ.

— Помню, четыре раза съ ломовикомъ въ трактиры заходили... Все по бутылкѣ водки выпивали, такъ что онъ, въ концѣ-концовъ, хмельный сталъ, а я хоть бы что... Иду за ломовымъ, только ноги у меня подламываются... Вотъ-вотъ на мостовую сяду. Приѣхали на Смоленскій вокзалъ... „Вотъ сейчасъ,—думаю,—открыть корзину велать“... Зубъ на зубъ не попадаетъ... „Что такое?“ — „Мѣховыя вещи“...—говорю. „Напишите, — говорятъ, — кому и отъ кого отправляете!“ Чуть-чуть „Викторовъ“ не подмахнулъ. Да опомнился Фамилью, думаю, надо выдумать. И хоть бы что! Лѣзетъ въ голову одна фамилія „Викторовъ“. „Скорѣе! — говорятъ. — Чего жъ вы?“ Тутъ у меня Васильевъ съ Владимировымъ въ головѣ завертѣлись, а я и подмахнулъ... Получилъ накладную, хожу, все чудится, воть-вотъ сзади крикнуть: „Стоя“. Вышелъ на площадь, голова закружилась, къ фонарному столбу прислонился, всею грудью вздохнулъ: чисто тяжесть съ плечъ свалилась. Иду по улицѣ, ногъ подъ собой не чувствую, радуюсь. Пришелъ домой, въ сосѣдную комнату загля-



нулъ,—быдто не адѣсь ли! Самъ надъ собой усмѣхнулся за такое малодушество. И завалился спать... И хотъ бы мнѣ что!

На слѣдующій день, 3 іюля, Викторовъ „честь-честью“ сходилъ на квартиру къ „покойницѣ“, сказалъ, что она неожиданно въ деревню уѣхала,—вѣсть получила, мать при смерти,—забралъ ея вещи, снесъ и заложилъ въ ломбардѣ:

— Не пропадать же имъ, на игру надоть было.

И началась жизнь „спокойная“:

— Афишка. По трактирамъ бѣгаю, совѣтуюсь, на пробныя га-лопы гоняю. Играю. Гдѣ бы денегъ промыслить,—думаю... Ихнія-то деньги сразу продулъ... Лошади у меня въ головѣ. Самъ часомъ диву даешься: словно ничего и не было. Быдто сонъ. Самъ въ другой разъ себя спрашиваешь, не сонъ ли былъ? Только камфарой въ комнатахъ еще пахиваетъ, какъ окна ни растворяешь. Но меня это мало беспокоило. Лошади и лошади,—такъ игра скрутилась, что либо панъ, либо пропалъ. Большіе призы кончились. Первый классъ ушелъ. Скачутъ все лошади фуксовыя. Выдачи огромныя. Тутъ въ лошадяхъ не разберешься, когда о другомъ думать?

Какъ вдругъ однажды, развернувъ газету, чтобъ прочесть про скачки, Викторовъ прочелъ:

— „Страшная находка въ Брестъ-Литовскѣ“.

— И поплыло, и поплыло все передъ глазами. Буквы прыгаютъ. Въ комнатѣ-то рядомъ охаетъ кто-то, стонетъ. Камфарный запахъ по носу рѣжетъ. По коридору идетъ кто-то. Мысли кругомъ. Что жъ это, думаю, я надѣлалъ? Страхъ меня взялъ и ужась... Жду, не дождусь, когда жильцы изъ сыскаго съ занятіемъ вернутся... Пришли, самъ что было, духу собралъ, къ нимъ пошелъ, водочкой угостилъ, спрашиваю: „Ничего не слыхать про трупъ-то, изрубленный въ Брестъ-Литовскомъ? Нынче въ газетахъ читалъ. Экій страхъ-то какой! Какія нынче дѣла творятся“. „Нѣтъ,—говорить,—ничего не слыхать, кто убилъ“. У меня отъ сердца и отлегло. „Но только,—говорятъ,—самъ Эффенбахъ за дѣло взялся. Отъ начальства ему приказъ вышелъ, чтобъ безпремѣнно отыскать. Навѣрное, отыщутъ“. Такъ они у меня отъ этихъ словъ въ глазахъ и запрыгали.

Тутъ ужъ началась „жизнь безпокойная“.

— Куда дѣваться не знаю. Куда ни пойду — покойница. Останешься ночью дома, заведешь глаза, входитъ... Головку запрокинуть такъ, горло раскроется, кровь бѣжитъ. Сталъ по публичнымъ домамъ ночевать ходить,—и тамъ приставляется. Пью и играю. Безперечь пью. И ежели бы не скачки,—ума бы рѣшился.

Врядъ ли когда-нибудь гг. спортсменамъ снилось, чтобы тотализаторъ сыгралъ такую роль.

— Закрутилъ игру такъ,—на всѣ. Кручусь, кручусь,—и покуда скачки,—ничего, отлегаешь, ни о чемъ не думаешь. А кончились скачки,—пить. Пью и не пьянѣю. И все мнѣ онѣ. Все онѣ. Побѣгъ въ церкву, отслужилъ панихиду,—перестала день, два являться. Потомъ опять,—я опять по нимъ панихиду. Панихидъ 4—5 справилъ,—все по разнымъ церквямъ. Отслужишь, полегчаетъ, потомъ опять приставляется.

Какъ назло, жильцы только и говорили, что о „загадочномъ убійствѣ“.

„Загадочное убійство“ волновало всю Москву. Сыскная полиція сбилась съ ногъ отъ розысковъ и, возвращаясь домой, агенты только объ этомъ дѣлѣ и говорили!

— Все еще не разыскали. Словно въ воду канулъ. Но ничего,—разыщемъ! Непремѣнно разыщемъ!

— Чувствую: съ ума схожу. Мечусь! По публичнымъ домамъ ночую, утромъ на галопы. Скачки. Со скачекъ въ церкву бѣгу панихиду служить. По трактирамъ пью. Вечеромъ домой на минутку бѣгу, узнать: какъ? что?!. Мечусь... Вхожу къ нимъ, словно жду,—вотъ-вотъ смертный приговоръ услышу. „Что?“ спрашиваю, а самъ глянуть боюсь. А какъ скажутъ „ничего“,—ногъ подъ собой не чувствую. Сколько разовъ послѣ этого къ себѣ въ комнату побѣжишь, хохотать что-то начнешь, удержишь нѣтъ. Въ подушку уткнешься, чтобъ не слышно было, „ничего!“—въ подушку кричишь. Самъ-то хохочешь, а въ нутрѣ-то страшно. И вдругъ „онѣ“ представляются... Опять пить, опять изъ дому бѣгать, опять панихиды служить. Мечусь.

Метанье кончилось тѣмъ, что однажды, на скачкахъ, къ Виктору подошли:

— Васъ вызываютъ въ сыскную полицію.

— У меня руки-ноги отнялись... „Да нѣтъ,—думаю,—не за этимъ“. Много у меня разныхъ дѣловъ накопилось: потому за это время, говорю,—закрутилъ игру во-всю,—у родныхъ всѣ вещи на игру перетаскалъ. Привезли меня въ сыскную. Въ комнату вводятъ. Полутемная такая комната. Народу много было, спиной къ окнамъ стояли, свѣтъ застали. Столъ, сначала я не разобралъ, что въ немъ такое! А какъ меня подвели,—я и крикнулъ... Корзинка, бѣлье, клеенка, цлашка... Остолбенѣлъ я, кричу только: „Не подводите! Не подводите!“ А Эфенбахъ меня въ спину подталкиваетъ: „Идите, говорить,—идите, не бойтесь. Это изъ Брестъ-Литовска“. — „Не подводите!—ору.—Во всемъ сознаюсь, только не подводите“..

Сидя въ сыскомъ отдѣленіи, Викторовъ давился на отдушникѣ при помощи рубашки.

— Онѣ измучили... Покойница... Завяжу глаза,—здѣсь онѣ, со мной сидятъ... „Вотъ,—говорять,—Коля, гдѣ мы съ тобой“. Не выдержалъ. Да и смерти ждать страшно было.

Какъ и очень многіе, Викторовъ ждалъ „безпрѣмѣнно веревки“.

— Ужъ я вамъ говорю. Вы на судѣ не были? Меня прокуроръ обвинялъ, г. Хрулевъ...

— А защищалъ кто?

— Не помню. Не интересовался. Безъ надобности. А обвинялъ Хрулевъ по фамилии. Такъ вотъ посередкѣ столъ стоялъ, на немъ бѣльецо ихнее, скомканное, слипшее, черное стало, клееночка. А около корзинка та самая стояла... Какъ эти вещи-то внесли, я чувства лишился. Страшно стало. На судѣ-то я сдрейфилъ, что самъ говорилъ, что кругомъ говорили,—не признавалъ. А только вотъ это-то помню, что г. Хрулевъ на корзинку показывали,—требовали, чтобы и со мной то же сдѣлать. На части, стало-быть, рубить!

Большинство этихъ „знаменитыхъ убійцъ“ увѣрено, что имъ „веревки не миновать за убійство“.

— За этимъ-съ и покойницу на части рубилъ и отсылалъ, — веревки боялся.

И большинству на судѣ, среди страха и ужаса, кажется, что прокуроръ требуетъ смертной казни.

— Когда вышелъ приговоръ въ каторгу,—ушамъ не повѣрилъ,—говорить, какъ и очень многіе, Викторовъ.

Въ каторгѣ онъ жалуется на слабость здоровья:

— Пища плохая, и главная причина, — ночи бессонныя! Думаю все.

— О чемъ же?

— О прошломъ. Господи, глупо какъ все было! Если бы вернуть!.. Ну, и спать тоже иногда боязно... Когда ихъ душа тамъ мучается... Грѣшница вѣдь была, блудная-съ... Когда ихней душѣ тамъ нелегко...

— Что же? Является?

— Приходятъ.

И весь съезжившись, вздрагивая, этотъ жалкій, гщедушный, весь высохшій человекъ, понизивъ голосъ, говоритъ:

— Главная причина—денегъ нѣтъ... Панихидки по нимъ отслужить не могу... Чтобы успокоились.

## Спеціалистъ.

Лѣтъ десять тому назадъ въ Одессѣ было совершено „громкое“ преступленіе.

Старикъ-банкиръ Лившицъ былъ найденъ задушеннымъ въ постели. Ничего украдено не было. Стоявшая въ сосѣдней комнатѣ нестергаемая касса съ деньгами оказалась нетронутой. Въ кухнѣ лежала связанная по рукамъ и ногамъ, съ завязаннымъ ртомъ, задышавшаяся кухарка Лея Каминкеръ.

Она рассказала, что ночью въ квартиру ворвались какіе-то люди въ маскахъ, пригрозили ее убить, если будетъ кричать, связали, бросили и пошли въ комнаты. Что тамъ происходило, — она не знаетъ.

Начались розыски, про которые потомъ на судѣ рассказывались ужасы. Одинъ изъ взятыхъ по подозрѣнію даже повѣсился въ участкѣ.

Послѣ очень долгихъ, тщетныхъ, ошибочныхъ поисковъ, наконецъ, удалось открыть, что на банкира Лившица „охотилась“ цѣлая шайка. Пѣкто Томилинь, многократный убійца, отчаянный головорѣзь, отстрѣливавшійся отъ вооруженной погони. Его любовница Лудкеръ, воровка по профессіи. Бродяга-громила Львовъ. Какая-то вдова, занимавшаяся покупкой краденаго. Въ шайкѣ участвовала и кухарка Каминкеръ, открывшая убійцамъ дверь и затѣмъ, по уговору, разыгравшая комедію, будто ее связали.

Страннымъ представлялось только, почему убійцы не тронули кассы.

Они объяснили это тѣмъ, что приглашенный въ компанію „спеціалистъ по взлому кассъ“ Павлопуло испугался во время убійства и убѣжалъ.

Принялись отыскивать Павлопуло.

Оказалось, что онъ съ тѣхъ поръ совершилъ еще одно преступленіе.

Павлопуло попался при ограбленіи казначейства гдѣ-то въ Крыму. Забравшись съ вечера въ казначейство, онъ за ночь взломалъ кассы, набилъ карманы деньгами и ждалъ, чтобъ его сообщники открыли двери казначейства. Услыхавъ, что двери открываютъ, Павлопуло съ набитыми деньгами карманами, подошелъ. Двери открылись, — передъ Павлопуло была полиція.

— Одинъ изъ моихъ помощниковъ, подлецъ, продалъ! — со вздохомъ говорить Павлопуло.



Его судили, осудили, и онъ шелъ уже по дорогѣ въ Сибирь.

— Въ это время меня эти негодяи, которые Лившица, — царство ему небесное, — убили, и выдали! Всю карьеру мою перепортили.

— Какую же карьеру?

— У меня ужъ „смѣшникъ“ готовъ былъ. Все налажено. Какъ только приду на мѣсто, сейчасъ же уйду, за границу бы, и занимался бы и сейчасъ своей настоящей специальностью!

— Именно?

— Кассы бы открывалъ!

И Павлопуло говорить это съ такимъ вздохомъ. У него сильный греческій акцентъ. Онъ говорить, собственно:

— Касси откывали би!

И въ словѣ „касси“ у него звучитъ даже нѣжность. Словно имя любимой женщины.

Павлопуло былъ возвращенъ съ дороги, препровожденъ въ Одессу, — и вотъ передъ судомъ предстали: Каминкеръ,

все время плакавшая, дрожавшая, тщедушная, пожилая еврейка; Львовъ, здоровѣйшій верзила, съ апатичнымъ взглядомъ, все время разсматривавшій потолокъ, стѣну, публику, судей, не обращавшій ни малѣйшаго вниманія на то, что происходитъ, словно не его дѣло касалось! Все время безъ-удержу рыдавшая и кричавшая: „я не виновата! я не виновата!“ — вдова, покупательница завѣдомо краде-



Арестантскіе типы. Осужденный за убійство.

наго, оглохшая въ тюрьмѣ, ходившая на костыляхъ, когда-то, должно-быть, очень красивая, молодая еще, еврейка Луцкеръ, обьявившая суду:

— Прошу не сажать меня около Томилина, — онъ меня убьетъ.

Въ кандалахъ Томилинъ, успѣвшій ужъ за это время много разъ судиться, осужденный въ каторгу, спокойный, очень кратко, но ясно и обстоятельно разъяснившій суду, какъ было дѣло.

И страшно интересовавшій публику, судей, присяжныхъ, въ кандалахъ же, какъ уже осужденный въ каторгу, живой, подвижной, среднихъ лѣтъ, грекъ Павлопуло.

— Вы меня знали раньше?—спросилъ онъ у свидѣтеля-пристава, специалиста по розыскамъ.

— Нѣтъ, не встрѣчалъ.

— А имя „пана“ вамъ было извѣстно?

— Ну, еще бы!

Въ голосѣ свидѣтеля даже послышалась почтительность.

„Панъ“—это воровская кличка Павлопуло.

Въ воровскомъ кругѣ Павлопуло получилъ кличку „пана“ за свою привычку къ „хорошей“, широкой и богатой жизни. За кутежи и франтовство.

— По тридцати рублей рубашечку носилъ!—вздыхалъ на Сахалинѣ Павлопуло.—Паутина-съ, а не полотно!

Кличку „пана“ Павлопуло получилъ за то, что онъ шелъ только на очень большія, крупныя дѣла.

— Мое дѣло—банки, конторы. Изъ частныхъ лицъ—развѣ кто ужъ очень богатъ,—ну, къ нему пойду, у него попрактикую!

Словно снисходилъ до частныхъ лицъ! „Мелкой практикой“ Павлопуло не занимался совсѣмъ.

„Паномъ“ его звали еще за необычайно презрительное, высоко-мѣрное отношеніе ко всей воровской братіи. „Достойными уваженія“ и его общества, изъ людей его профессіи, Павлопуло считалъ только трехъ—четырехъ, „такихъ, какъ и онъ“:

— Одинъ есть такой въ Москвѣ. Съ остальными я встрѣчался за границей.

Имя „пана“ гремѣло не только въ Россіи. Онъ былъ извѣстенъ въ Румыніи, Турціи, Греціи, Египтѣ.

— Вообще на Востокѣ!—пояснилъ „панъ“ присяжнымъ.

Когда полицейскіе рассказали суду все это про „пана-Павлопуло“, Павлопуло поднялся съ мѣста и, звякнувъ кандалами, ткнулъ пальцемъ въ грудь.

— Панъ—это я!

Старые судейскіе потомъ говорили, что болѣе оригинальнаго подсудимаго не видывалъ судъ.

Павлопуло обратился къ свидѣтелю, сыну покойнаго Лившица.

— Скажите, пожалуйста, вы знаете кассу вашего покойнаго батюшки?

— Да. Она у меня и до сихъ поръ.

— Она такой-то формы? Марка такая-то?

— Да.

— Замокъ съ такимъ-то секретомъ? Отпирается такъ-то и такъ-то?

Павлопуло рассказалъ мельчайшія подробности всѣхъ секретовъ кассы.

— Да. Да. Да.

— Скажите, для того, чтобъ касса открылась безъ звона, что надо сдѣлать?

— Право... не знаю...

— Припомните хорошенько. Тамъ есть съ такого-то бока такая-то кнопка. Если вы ее прижмете, касса откроется безъ звона.

— Съ такого-то бока, вы говорите?

— Да, да, вы не торопитесь. Вы припомните. Тамъ должна быть такая-то кнопка.

— Да! Совершенно вѣрно! Есть такая кнопка, и, если ее прижать, касса, дѣйствительно, отпирается безъ звона!—припомнилъ свидѣтель.

— Вы видите!—обратился Павлопуло къ суду.—Я лучше знаю его кассу, чѣмъ онъ самъ!

Павлопуло отрицалъ всякое свое участіе даже въ умыслѣ на убійство.

— Неужели я на такую глупость способенъ?!—восклидалъ онъ горячо и убѣдительно.—Зачѣмъ мнѣ? У меня, слава Богу, есть своя специальность!

Такъ и сказалъ: „слава Богу“. И такъ часто и съ такимъ увлеченіемъ упоминалъ про „специальность“, что предсѣдатель, наконецъ, спросилъ:

— Про какую это вы все „специальность“ толкуете?

— Кассы открывать!

— А!

— Я за свою специальность даже кандалы ношу! съ гордостью говорилъ Павлопуло, словно и ни вѣсть какой знакъ отличія получилъ.—Я за свою специальность, вы слышали, за границей извѣстность. Я за свою специальность Сибирь получилъ!

— Я, господа присяжные, такой же, какъ они, воръ. Но другой специальности! — пояснилъ онъ присяжнымъ. — Мы раздѣляемся на разныя специальности. У кого какая, тотъ той и держится. Карманникъ — онъ карманникъ, и по параднымъ дверямъ шубы красть, — это ужъ не его дѣло. На это есть „парадники“. Парадникъ опять-таки въ поѣздахъ пассажировъ обкрадывать не пойдетъ. Онъ этого дѣла не знаетъ! На это есть „поѣздошники“. На все свои специальности. Я специалистъ по открытію кассъ.

— Мнѣ убивать итти! Мнѣ! — всплескивалъ онъ руками, и на лицѣ его выражалось даже сожалѣніе къ людямъ, способнымъ вообразить себѣ такую нелѣпицу. — Да зачѣмъ мнѣ? Да я, случалось, открывалъ кассы, когда хозяинъ тутъ же по сосѣдству въ комнатахъ сидѣлъ, — и никто ничего не слышалъ.

Павлопуло никогда не говорить „ломать“ кассу, всегда мягко: „открывать“. „Ломати кассѣи глупо, кассѣи открывати нузино!“ — по его словамъ.

— Я бы кассу и открылъ, и деньги взялъ, и ушелъ, — Лившица бы и не проснулся! И вдругъ я буду итти на убійство!..

— Ну, однако! — прервалъ его разглагольствованіе председатель. — Вѣдь вы сами же говорите, что при васъ револьверъ былъ.

— И не только револьверъ, но еще и кинжалъ, но еще и кастетъ! — горячо воскликнулъ Павлопуло. — Да вѣдь вы посудите, въ какую компанію я шелъ! Что это за публика? Вы посмотрите только на ихъ фizioноміи! Хороши?

Томилинь при этихъ словахъ оглянулся и только презрительно посмотрѣлъ на Павлопуло своими сѣрыми, холодными, спокойными глазами.

— Вѣдь эта „публика“ за пятачокъ человѣка зарѣзать готова! — горячо продолжалъ Павлопуло. — Вѣдь это негодяи! А при мнѣ были и часы, и перстни, и портсигаръ золотой. Долженъ же былъ я съ собой для нихъ оружіе захватить. Вѣдь они меня при дѣлежѣ могли убить.

Въ дѣйствительности, убійство Лившица произошло такъ:

Убійства не затѣвалось. Затѣвали только грабежъ. Душой предпріятія была вдова-ювелирша, покупательница краденаго. Отъ своей знакомой Каминкеръ она слыхала, что у „хозяина“ всѣ деньги хранятся дома, и „свела“ ее со своими знакомыми, неоднократно продававшими ей краденое, громадами Томилинымъ и Львовымъ. Но какъ отереть кассу? Самимъ сломать, не зная, какъ это дѣлается, — весь домъ на ноги поднимешь. Компанія воспользовалась прибытіемъ въ Одессу „по дѣламъ“ знаменитаго „специалиста“ „пана“ и предложила ему принять участіе.



„Павъ“ пошелъ на „хорошее дѣло“ съ обычной осторожностью. Приказалъ Каминкеръ сломать замокъ у двери и, въ качествѣ слесаря, позвать его. Явившись, подъ видомъ слесаря, въ домъ, осматрѣвъ расположеніе комнатъ, мелькомъ взглянулъ на кассу:

— Мнѣ на кассу достаточно разъ взглянуть, чтобы понять ее. Касса, я сразу увидѣлъ, была нетрудная. У меня въ практикѣ бывали такія.

Павлопуло объявилъ компаніи:

— Дѣло легкое!

Но предупредилъ:

— Только помните, чтобы безъ глупостей. На глупость я не пойду. И не къ чему. Лившицъ и не услышитъ, какъ я открою кассу.

Это мнѣ и Томилинь на Сахалинѣ говорилъ:

— Такой уговоръ, дѣйствительно, былъ. Недотрога, вѣдь, бѣло-ручка „павъ“,—одно слово. Мразь!

Вечеромъ, въ назначенный день, Каминкеръ отперла дверь на черную лѣстницу, и въ кухню вошли Львовъ, Томилинь, Луцкеръ въ мужскомъ платьѣ,—Томилинь не отпускалъ Луцкеръ отъ себя ни на шагъ,—и Павлопуло „съ необходимыми инструментами“.

Лившицъ еще не спалъ. Компания осталась ждать въ кухнѣ. Пили водку „для храбрости“—всѣ, кромѣ Павлопуло. Онъ боялся, чтобы его не опоили.

Злой, жестокій, необузданный Томилинь пьянѣлъ, ожидание раздражало его, и Павлопуло началъ беспокоиться и предупреждать:

— Такъ помните, чтобы безъ глупостей!

— Ладно! Сказано! Молчи ужъ!

Каминкеръ оходила, послушала:

— Кажется, заснулъ. Тихо.

Ее, какъ было условлено, связали, завязали ей ротъ, положили въ постель и пошли.

Павлопуло долженъ былъ вскрывать кассу. Львовъ, Томилинь, Луцкеръ — стоять насторожѣ. Если Лившицъ проснется, кинуться, связать, завязать ротъ,—но и только.

Тихонько вошли они въ комнату, гдѣ стояла касса. Въ сосѣдней комнатѣ, въ спальнѣ Лившица, былъ свѣтъ.

Старикъ лежалъ въ постели и читалъ книгу.

Грабители притаились.

Такъ прошло нѣсколько минутъ. Луцкеръ, Томилинь, Львовъ, Павлопуло стояли, не смѣя дышать. А старикъ преспокойно читалъ.

— Словно нѣсколько часовъ прошло! Дышать было трудно, — говоритъ Павлопуло.

Какъ вдругъ Томилинь не выдержалъ. Кинулся въ спальню, за нимъ кинулся Львовъ.

У Павлопуло подкосились ноги.

Старикъ только поднималъ голову, не успѣлъ даже вскрикнуть. Томилинь накиннулъ веревку. Львовъ схватился за другой конецъ Дернуди. Хрипѣніе. Старикъ былъ мертвъ.

Когда Томилинь повернулся къ Павлопуло:

— Такого лица я еще никогда не видывалъ!—говорить панъ.

Онъ кинулся къ двери.

Львовъ загородилъ было ему дорогу.

— А касса?

Павлопуло выхватилъ револьверъ:

— Башку вдребезги!

Верзила отшатнулся, и Павлопуло „былъ таковъ“.

— Мы всѣ тогда испугались!—говорить Львовъ.

Томилинь былъ страшенъ. Онъ „вошелъ въ сердце“. Придя въ кухню, сѣлъ на связанную Каминкеръ и, когда та заворочалась, далъ ей такого тумака по головѣ, что она потеряла сознаніе.

Луцкеръ и Львовъ дрожали:

— Думали, всѣхъ убѣть!

Томилинь кричалъ, „рычалъ, какъ звѣрь“, сквернословилъ, ругался, пилъ водку.

Луцкеръ на колѣняхъ молила:

— Да успокойся ты! Успокойся!

Насилу „отдышался“.

Такъ происходило убійство.

— Въ такую глупость впутался! Съ такими мерзавцами связался! — билъ себя по головѣ, какъ-то въ разговорѣ на Сахалинѣ, Павлопуло, и въ словахъ его звучало отчаяніе неподдѣльное. — А? Въ убійство попалъ. Въ убійство, когда я имѣю свою специальность!

Присяжные не дали вѣры Павлопуло, онъ былъ осужденъ за убійство съ заранѣе обдуманымъ намѣреніемъ, наравнѣ съ Томилинымъ и Львовымъ.

Павлопуло только пожалъ плечами и поблагодарилъ своего защитника по назначенію, теперь уже покойнаго присяжнаго повѣреннаго Ваховича:

— Благодарю васъ за защиту. А что меня осудили, вина не ваша! Не поняли насъ съ вами гг. присяжные засѣдатели!

Таковъ „панъ“.

Павлопуло былъ не уловимъ для меня на Сахалинѣ. Придешь въ Александровскую „вольную“ тюрьму:

— Здѣсь Павлопуло?

— На работѣ. На паровой мельницѣ.

Идешь туда.

— Ушелъ Павлопуло.

Отыскивалъ его утромъ, вечеромъ — никакъ не могъ увидѣть.

Однажды я бродилъ по тюрьмѣ, какъ вдругъ на меня бросился, — буквально, бросился, — какой-то кавказецъ, сосланный за многократныя убійства: родная месть. Онъ на что-то жаловался, подавалъ прошение, не получилъ отвѣта, и теперь требовалъ его отъ меня.

— Атвэчай!

И напрасно убѣждалъ его, что я не начальство. Кавказецъ ничего знать не хотѣлъ:

— Какъ не начальство? Зачемъ не начальство? Драть все начальство, жалоба правая разбирать, — вѣтъ начальства?

Глаза горять:

— Атвэть давай! Два гуда ждэмъ. Булше ждять не жаемъ.

Вдругъ чья-то сильная рука отстранила кавказца.

— А вотъ постой, я съ нимъ поговорю по-своему.

Передо мной стоялъ, руки въ боки, здоровенный молодой каторжанинъ, кожаный картузь набекрень, рубаха-косоворотка съ „кованымъ“, вышитымъ воротникомъ. Халать едва держится, накинута на одно плечо. Видъ типичнаго „Ивана“. Это былъ тюремная знаменитость А. „Иванъ“, не „спускавшій“ самому Патрину <sup>1)</sup>.

— А п-позвольте у васъ узнать, кто же такой вы будете, ежели вы не начальство?

— А тебѣ какое дѣло? Вѣдь я тебя не спрашиваю, кто ты такой!

— Нѣтъ-съ, позвольте-съ!

А. съ вызывающимъ видомъ загородилъ мнѣ дорогу.

— Ежели вы, какъ вы изволите говорить, не начальство, на какомъ же такомъ основаніи вы тюрьму осматриваете? А?

Кругомъ стояла толпа. Ждали, „чѣмъ кончится“.

Положеніе было критическое. Пригрозить начальствомъ, жалобой, — избави Богъ — это значило бы лишиться всѣхъ симпатій

<sup>1)</sup> Патринъ, смотритель тюрьмы, былъ въ то время ужасомъ всей каторги.

арестантовъ. Уступить — сконфузить себя, уронить въ глазахъ тюрьмы. Унизить его чѣмъ-нибудь, избави Богъ, вѣдь сколько разогъ принялъ этотъ человѣкъ, чтобы добиться славы „Ивана“. И вдругъ, чтобы все это пустить на смарку, уничтожить его обаяніе въ глазахъ тюрьмы. Надо было найти какой-нибудь выходъ. Выйти такъ, чтобы и онъ и я разошлись, не уронивъ своего достоинства.

Мнѣ пришло въ голову гаркнуть на него во всю глотку:

Молчать! Шапку долой! Ты какъ смѣешь такъ со мной разговаривать? А? Что я тебѣ начальство, что ли, что ты смѣешь въ шапкѣ передо мной стоять, да мнѣ грубить? Начальство я тебѣ? <sup>1)</sup>

Все кругомъ заревѣло отъ хохота.

„Иванъ“, — послѣ онъ мнѣ самъ говорилъ, — „началь-то съ брехъ, а потомъ вижу, глупость дѣлаю“, сначала опѣшилъ, потомъ самъ обрадовался тому выходу, захохоталъ, снявъ шапку:

— А ежели не начальство, наше вамъ почтеніе! Милости просимъ! Ежели не начальство, виновать!

Всѣ были довольны такимъ мирнымъ исходомъ, смѣялись, и среди смѣющихся лицъ мнѣ показались знакомыми сжавшіеся отъ смѣха въ щелчки, черные, какъ маслины, живые, огнемъ горѣвшіе глаза.

— Какъ фамилія?

— Павлопуло.

— А! Знаменитый „панъ!“ А я вѣдь тебѣ привезъ поклонъ отъ твоего защитника, г. Ваховича!

Покойный Ваховичъ, дѣйствительно, просилъ меня передъ моею поѣздкой, увижу, кланяться его оригинальному кліенту.

Павлопуло засіялъ отъ счастья. Теперь уже глаза всѣхъ почти были обращены на него: знаменитость, которую проѣзжие люди по Россіи помнят!

— Ахъ, какъ вы меня этимъ поддерживали! Вы себѣ этого и представить не можете! — говорилъ мнѣ потомъ Павлопуло. На сто процентовъ ко мнѣ уваженіе поднялось!

Съ этого и пошла наша дружба. Когда я приходилъ въ „вольную“ Александровскую тюрьму, меня всегда сопровождали двое, — Павлопуло, который разъяснялъ, что при мнѣ нечего опасаться пить водку, играть въ карты и т. п., и А., который считалъ своимъ долгомъ меня охранять:

— Мало ли какой дуракъ можетъ вамъ скандалъ сдѣлать? Вѣдь народъ тутъ тоже. Одно слово — арестантъ.

<sup>1)</sup> „Иванъ“ долженъ быть дерзокъ только съ начальствомъ.



На Сахалинѣ служащіе получаютъ въ складчину телеграммы „Россійскаго Агентства“, которыя печатаются въ мѣстной типографіи. Я бралъ оттискъ, и Павлопуло каждый день заходилъ ко мнѣ почитать телеграммы: въ то время шла греко-турецкая война.

Онъ осѣдывалъ носъ золотымъ пенснэ, которое такъ удивительно шло къ арестантскому „бушлату“, читалъ и покачивалъ головою.



Арестантскіе типы.

— Ца! Ца! Ца! Насихъ быюти! Быюти грековъ! Быюти!  
Быль печаленъ, озабоченъ, приходилъ въ неистовство:

— Министри наши никуда не годятся! Министри! До чего довели  
На сто ми тепери воевати моземъ! Все Деліаниси издѣляли!

А однажды объявилъ:

— Изъ-за этого Деліаниса я въ каторгѣ!

— Какъ такъ?!

— Павлопуло моя не настоящая фамилия. Я изъ Аеинъ. У меня въ Аеинахъ братъ-адвокатъ есть. Только я, конечно, въ молодости съ пути сбился. А то бы хорошимъ механикомъ былъ. Но только когда въ возрастъ пришелъ, рѣшилъ остепениться. Выждалъ, когда мнѣ по греческимъ дѣламъ давность вышла,—денегъ у меня было много,—купилъ себѣ землю въ Греціи. Тутъ наши министры такую политику повели,—бѣда. Нищія совѣтъ стали. Налоги страшные. Земля себя не окушаетъ. Неурожаи. Въ долги влѣзъ. Съ аукциона все пошло. А жить я привыкъ! Пришлось опять кассы вскрывать итти. Вотъ до Сахалина изъ-за министровъ нашихъ и дошелъ!

Часто онъ говорилъ мнѣ, и въ голосѣ его слышалось столько за душу хватающей тоски.

— Что, Сахалинъ! Не то меня мучаетъ, что я на Сахалинѣ. А то, что далеко я отъ Греціи! Тамъ что теперь дѣлается! Бѣдная, бѣдная Греція!

Иногда онъ говорилъ:

Пустили бы меня. Въ волонтеры бы пошелъ! Хотъ бы умереть дали за Грецію!

И когда онъ говорилъ о Греціи, въ голосѣ его слышалось столько нѣжности, любви къ родинѣ.

Теперь уже Павлопуло отбылъ свою сокращенную, за силою манифеста каторгу, и я могу передать этотъ разговоръ.

— Павлопуло,—спросилъ я его однажды,—отчего васъ никогда на мельницѣ нѣтъ?

— Да я тамъ никогда и не бываю. Я каторги никогда и не отбывалъ. Каторжные работы отбываютъ только тѣ, у кого денегъ нѣтъ.

— Какъ же такъ?

— А такъ, нанимаю за себя другого. Онъ и свой урокъ исполняетъ и мой.

— И дорого платите?

— Пятачокъ въ день. Мнѣ есть расчетъ. Я больше наживаю.

— Чѣмъ же вы занимаетесь?

— Торгую въ тюрьмѣ старьемъ, деньги въ ростъ даю.

— И помногу процентовъ берете?

— Да игрокамъ даю, какъ у насъ водится, „до пѣтуховъ“, на одиѣ сутки. Сто процентовъ въ сутки! Процентъ хорошій! — улыбнулся онъ.

„Панъ“ остался аристократомъ и здѣсь: ростовщикъ въ тюрьмѣ, лицо почетное и уважаемое. Павлопуло, какъ я въ этомъ убѣдился, какъ паукъ, высасывалъ всю тюрьму.

У него были деньжонки, и деньжонки порядочныя. Какъ и всѣ каторжане, онъ дѣлѣялъ мечту:

— Богъ дастъ, и не такъ еще проживу! На волѣ буду, опять за свою специальность возьмусь!

О „специальности“ и о кассахъ, почти какъ о Греціи, онъ говорилъ съ увлеченіемъ, съ теплотой, съ любовью.

— Какъ же вы? Учились, что ли, ломать?

— Вскрывать, а не ломать!

— Ну, вскрывать?

А какъ же! Въ промежуткахъ, бывало, купилъ себѣ нестерпаемую кассу и на ней практикуешься!

Онъ съ необычайнымъ жаромъ рассказывалъ, какъ это надо дѣлать, чертить, рисовать.

— Я однажды въ Александріи, въ Египтѣ, три мѣсяца надъ мильнеровской кассой бился, какъ ее вскрыть? Вотъ касса! Ца! Одному невозможно. Встроимъ надо, меньше никакъ нельзя! Пудовъ двѣнадцать однихъ инструментовъ принести нужно. Начнешь надъ нею съ непривычки работать, домъ трясется. Только со спинки и можно ее взять. Вы, сколько я васъ вижу, не изъ тѣхъ людей, которые нестерпаемыя кассы себѣ заводятъ. Но если, дай вамъ Богъ, заведете, заведите себѣ мильнеровскую! — засмѣялся Павлопуло.

— Да! А вы придете и откроете?

— Я? За кого вы меня принимаете? Вотъ что я вамъ скажу. не только я не приду, но если я въ томъ городѣ буду, ни одинъ воръ къ вамъ не придетъ. Они „наша“ уважаютъ. „Панъ“ скажетъ „не тронь“ и не тронуть. И вы вдругъ про меня такъ думаете. Ай-ай-ай!

Онъ былъ серьезно обиженъ.

— Ну, хорошо, Павлопуло, человекъ вы „съ правилами“, образованный, не стыдно вамъ, не грѣхъ у людей ихъ достоинство отнимать!

Павлопуло посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ.

— Да развѣ я когда-нибудь у бѣдныхъ, которые своимъ трудомъ нажили, отнималъ что-нибудь? Я бѣднымъ всегда самъ помогалъ. Я жъ, вы знаете, только богатыхъ.

— Ну, у богатыхъ!

— Такъ какое же это ихъ достоинство? Повѣрьте мнѣ, тысячу своимъ трудомъ нажить можно. А миллионъ не своимъ трудомъ наживается, а чужимъ. Все чужое достоинство. Они чужимъ достоинствомъ живутъ и я чужимъ! — разсмѣялся онъ. — Да и къ тому же, у кого

есть деньги въ несгораемой кассѣ, у того есть онѣ и съ другими мѣстѣ! Я послѣдняго человѣка не лишаю.

— Послушайте, Павлопуло, вы словно любите вскрывать кассы! — замѣтилъ я ему однажды. — Словно самую эту работу любите?

— Люблю-съ! — спокойно отвѣтилъ онъ. Всякое дѣло надо любить: только тогда и добьешься искусства!

Такой странный мономанъ.

Когда я увѣзжалъ съ Сахалина, Павлопуло пришелъ проводить меня на пристань. Онъ просилъ меня прислать ему исторію греческой войны на греческомъ языкѣ.

— Вы много путешествуете. Если будете когда въ Греціи, кланяйтесь моей бѣдной, милой, родной сторонѣ отъ ея сына!

И на глазахъ его были слезы.

— Прощайте, Павлопуло.

— До свиданья вамъ! — поправилъ онъ меня, хитро подмигнувъ и улыбнувшись.

### Л ю д о ѣ д ы .

Случаи людоедства среди бѣглыхъ каторжннхъ болѣе часты, чѣмъ объ этомъ думаютъ. „Официально извѣстны“ три людоеда.

Занимаясь въ архивѣ Рыковской тюрьмы, я натолкнулся на слѣдующій документъ, помѣченный 28 іюля 1892 года:

„Его высокоблагородію г. смотрителю Рыковской тюрьмы Тимовскаго округа надзирателя центральной дороги Мурашова.

Рапортъ.

Имѣю честь препроводить вашему высокоблагородію сомыльно-каторжнаго Рыковской тюрьмы Колоскова Павла, который бѣжалъ съ 13 на 14, а донесено 15 сего іюля за № 248. Пойманъ разсылнымъ вышепоименованной тюрьмы Хрусталемъ 24 сего текущаго мѣсяца на 1-й Хандосѣ; при немъ найдены арестантскія вещи, два котла, въ томъ числѣ мѣшокъ человѣческаго мяса, поджареннаго. Колосковъ Павелъ показалъ, что убилъ сс.-каторжнаго, который вмѣстѣ пошелъ съ нимъ въ просѣки, звать не знаетъ, а фізіономію объяснилъ: свѣтло-русый мужчина, выше средняго роста, малороссъ, около 35 лѣтъ, вѣроисповѣданія православнаго. По справкѣ оказывается, что въ эту самую ночь бѣжалъ съ нимъ сс.-каторжный Крикунъ-Каленикъ. Я, Мурашовъ, производилъ осмотръ вещамъ Колоскова, нашелъ халатъ, бѣлье грязное съ покойника, и мясо зажаренное, человѣческое, которое стало разлагаться отъ теплой температуры въ котомкѣ воздуха. Преступленіе совершено на



5 верстѣ отъ Онора, по дорогѣ, ведущей отъ 2-й Хандосы на Оноръ. При такихъ важныхъ обстоятельствахъ преступленія, сс.-каторжнаго Колоскова имѣю честь препроводить къ вашему высокоблагородію на зависящее распоряженіе въ ручныхъ и ножныхъ кандалахъ“.

Это происходило на работахъ по проведенію Онорской просѣки. Воспоминаніе объ этой „Онорской дорогѣ“ сохранилось въ одной



Ссылно-каторжный Колосковъ Павелъ, обвиняемый въ людоедствѣ.

каторжной пѣсѣ, сложенной „терпигорцами“, т.-е. каторжанами, шедшими на Сахалинъ не моремъ, а сухимъ путемъ:

Пока шли мы съ Тюмени,—  
Вли мы гусей,  
А какъ шли мы до Онора,—  
Жрали мы людей.

Такъ живетъ въ каторгѣ страшная память объ онорскихъ работахъ.

Кому-то и съ чего-то пришла въ голову героическая, но совершенно нелѣпая мысль прорѣзать просѣкой Сахалинъ вдоль южнаго поста Корсаковского. Просѣку пришлось вести черезъ тундру, поросшую тайгой. Что это за просѣка, можете судить по тому, что мнѣ, напримѣръ, чтобы проѣхать верхомъ 8 верстъ отъ Онора до Хандосы 2-й, понадобилось три съ половиной часа. Ѣхать по „просѣкѣ“ можно только на сахалинской лошади, выросшей въ тайгѣ. Лошадь остороженненько ступаетъ по корнямъ невыкорчеванныхъ пней. А когда становится на „грунтъ“, моментально завязаетъ по брюхо въ топкой, растаявшей тундрѣ.

Работы по проведенію „просѣки“ велись отъ ранней весны до первыхъ заморозковъ. Люди взяли въ трясины, рубя деревья и выкорчевывая пни. И къ этой мукѣ — работать чуть не по поясъ въ топкой грязи — присоединялась еще нестерпимая мука отъ мошкеры, которая тучами носится лѣтомъ надъ тундрой. Мошкеры облѣпляли людей. Люди буквально обливались кровью.

— Мѣста живого не было отъ укусовъ! — говорятъ бывшіе на этихъ работахъ. — Мошкеры такая тѣма была, бывало, вздохнешь, да и задохнешься, — столько ея въ ротъ попадаетъ!

Люди, бывавшіе лѣтомъ въ тундрѣ, вполне этому повѣрятъ.

За цѣлое лѣто прошли такимъ образомъ 77 верстъ, а затѣмъ эта идея — прорубить просѣку „вдоль всего Сахалина“ — была брошена, какъ совсѣмъ невыполнимая. О трудности работъ можете судить по тому, что отправилось на онорскія работы 390 человекъ, а вернулось 80. Остальные, — одни перемерли, другіе бѣжали, часть ихъ нихъ была поймана, большинство такъ и погибло въ тайгѣ „безъ вѣсти“.

Нужна была какая-нибудь сверхъестественная сила, чтобъ заставить людей исполнять такіа работы. И такой силой въ рукахъ мѣстной тюремной администраціи, производившей дорожныя работы, но ничего въ нихъ не понимавшей, явился старшій надзиратель Хановъ.

Хановъ самъ изъ ссыльно-каторжныхъ. Когда-то онъ былъ сосланъ за какое-то, говорятъ, звѣрское преступленіе и отбывалъ каторгу въ Карѣ „въ разгильдѣвскія времена“, о которыхъ до сихъ поръ съ ужасомъ вспоминаютъ старики-каторжане.

— Я разгильдѣвецъ! съ гордостью говоритъ Хановъ.

Хановъ отбылъ каторгу, поселенчество и, пріѣхавъ на Сахалинъ, сдѣлался надзирателемъ. Нѣтъ вообще „люте“ надзирателей, чѣмъ изъ ссыльно-каторжныхъ. Какъ всякій бывший ссыльно-каторжникъ, Хановъ ненавидѣлъ и презиралъ каторгу. Къ тому же онъ зналъ ее хорошо, тонко, „по-каторжному“ зналъ.

Чтобы команда изъ 390 каторжанъ, бывшая подъ присмотромъ всего 3 надзирателей, не взбунтовалась, Хановъ отдѣлилъ изъ нея „Ивановъ“.



Надзиратель Хановъ и его семья.

Опытнымъ глазомъ „старого разгильдѣвца“ Хановъ присматривался къ каждой новой партіи каторжанъ,—и сейчасъ же выдѣлялъ

„Ивановъ“, именно ихъ-то и дѣлая надсмотрщиками за работами. „Иваны“, такимъ образомъ, совсѣмъ избавлялись отъ работъ, могли питаться лучше, завѣдуя раздачей арестантскихъ порцій, и получали полную возможность тиранить и грабить злосчастную шпанку, выколачивая изъ нея послѣдніе гроши, послѣднія щепотки табаку.

Лучше жизни „Иванамъ“ и не нужно было. Они были на стороне Ханова. А шпанка, забитая и несчастная, лишившись своихъ коноводовъ, терпѣливо несла свой крестъ.

Чтобъ забить „шпанку“ въ козень, „старый разгильдѣвецъ“ употреблялъ два приема: непосильные „уроки“ и недостаточность пищи. Урочныя работы задавались такія, что всѣ и всегда были виновны въ „неисполненіи урока“. Порка,—Ханову было предоставлено право драть, — шла по всей линіи несосвѣтима. Кормилъ Хановъ арестанговъ разъ въ день, послѣ работъ. И пищи было недостаточно, и „Иваны“ еще вдобавокъ крали,—измученный чловѣкъ, кончивъ урокъ, или, вѣрнѣе, никогда не кончивъ урока, если избѣгъ порки, „тыкался“ къ котлу, „жралъ“ наскоро, и, заморенный, полуголодный, засыпалъ тутъ же, на мѣстѣ, какъ убитый. До протестовъ ли тутъ! Такъ въ голодѣ и ужасѣ жила „шпанка“.

Забивъ шпанку физически и нравственно, Хановъ „подобрался“ и къ „Иванамъ“. Но дѣлалъ это опять-таки необыкновенно тонко и по-каторжному—умѣло. Онъ „сокращалъ“ ихъ по одному, въ то же время другимъ давая еще большія льготы. Вдругъ возьметъ и одного какого-нибудь „Ивана“ изъ надсмотрщиковъ переведетъ въ простые рабочіе, на полуголодный, полутрепетный режимъ. Остальнымъ „Иванамъ“ это было только на руку: меньше надсмотрщиковъ, больше каждому изъ оставшихся достанется на долю при дѣлежкѣ награбленнаго. И разжалованный изъ надсмотрщиковъ въ рабочіе „Иванъ“ долженъ былъ покоряться. Что онъ одинъ подѣлаетъ, когда вчерашніе его товарищи колотятъ и бьютъ его:

— Работай, такой-сякой! Не лодырничай!

Такъ мало-по-малу Хановъ „перевелъ“ у себя и „Ивановъ“, оставивъ изъ нихъ въ качествѣ надсмотрщиковъ только самыхъ отчаянныхъ. Зато ужъ и преданы были эти надсмотрщики Ханову истинно „какъ псы“. Ихъ было мало, на долю каждого приходилось много. Имъ прямой былъ расчетъ поддерживать хановскіе порядки, и самъ надзиратель изъ каторжанъ такъ не свирѣствовалъ, какъ свирѣствовали каторжные надсмотрщики.

Такъ, примѣняя правило „divide et impera“, Хановъ держалъ въ своихъ поистинѣ желѣзныхъ рукахъ каторгу и дѣлалъ съ нею все, что хотѣлъ.



Люди бросались подь падавшія срубленныя деревья, чтобъ получить увѣчье, люди отрубали себѣ кисть руки, — на Сахалинѣ и сейчасъ много этихъ „онорцевъ“ съ отрубленной кистью лѣвой руки, — чтобъ только ихъ, какъ неспособныхъ къ работѣ, отправили назадъ, въ тюрьму. Люди, очертя голову, бѣжали въ тайгу на голодную смерть.

Павелъ Колосковъ былъ однимъ изъ „Ивановъ“, проведенныхъ Хановымъ.

Колосковъ въ первый разъ былъ сосланъ на Сахалинъ на 10 лѣтъ за убійство съ цѣлью грабежа. Затѣмъ онъ бѣжалъ, былъ пойманъ, получилъ плети, присужденъ къ вѣчной каторгѣ, съ „15 годами испытательности“, т.-е. долженъ 15 лѣтъ содержаться въ кандалной тюрьмѣ: нѣчто совершенно безнадежное. Въ тюрьмѣ онъ былъ однимъ изъ „Ивановъ“, и когда его пригнали съ партіей на онорскія работы, Хановъ сейчасъ же сдѣлалъ Колоскова „надсмотрщикомъ“.



„Онорскія людоеды“. Губарь.

Жилось тогда, что говорить, хорошо. Вѣшь вволю, табакъ, даже водку доставали.

Колосковъ и сейчасъ съ удовольствіемъ вспоминаетъ объ этомъ времени. Но оно длилось недолго: Хановъ сократилъ „Ивана“ по вышеуказанному рецепту.

— Взѣлся и взѣлся. Перевелъ въ рабочіе. Я къ товарищамъ: „Что жъ это, братцы? За что?“ Смѣются: „Не умѣлъ, стало, потра-

фить. Теперь самъ и разбирайся, какъ знаешь. Намъ хорошо, а до тебя какое дѣло? На Сахалинѣ всякъ за себя. А ты вотъ что: ты, чѣмъ брехать, урокъ исполняй, — потому мы затѣмъ надъ тобой приставлены“. Парень я былъ могучный, — Хавовъ на меня и наваливаетъ и наваливаетъ. Такіе „уроки“ загибаетъ, — съ силъ спалъ. Что ни день, деруть: урока не выполнилъ. Вижу, — смерть. Въ тѣ поры я товарища подговорилъ и убѣгъ.

Колосковъ и до сихъ поръ содержится въ Александровской кандалной тюрьмѣ.

Молодой еще парень, низкорослый, широкоплечій, истинно „могучный“. Съ тупымъ, угрюмымъ лицомъ, исподлобья глядящими глазами. Каторга, даже кандалная, „головка“ каторги, его не любитъ и чуждается. Онъ ходитъ обыкновенно одинъ вдоль палей, огораживающихъ кандалное отдѣленіе, взадъ и впередъ, понурый, мрачный, словно волкъ, что неустанно бѣгаетъ вдоль рѣшетки клѣтки.

— Ушли мы съ товарищемъ съ работы! — рассказываетъ Колосковъ.

— Провіанту захватили?

— Нѣ! Какой тамъ провіантъ. Оно вѣрно, когда мы бродяжить уходимъ, всегда загодя себѣ прикопlichemъ. Сухари сушимъ. Да тамъ что засушишь! Кончишь работу, слопаешь, что дадутъ, — словно и не ѣлъ. Оттого и сбѣгли.

— Ты даже не спросилъ, какъ товарища зовутъ?

— Ни къ чему было. Ишли, ишли тайгой, смерть подходить. Товарищъ-то упалъ — и померъ.

— Самъ умеръ?

— Самъ. Занедужился и померъ. Это я нарочно потомъ на себя выдумалъ, убилъ будто. Ну, померъ онъ, — вижу я, — и мнѣ то же будетъ. Набралъ хворосту — спички съ собой были — зажегъ костеръ изъ тѣла такъ нѣсколько кусковъ вырѣзалъ и на угляхъ сжарилъ... А только тѣла я не ѣлъ. Нарочно такъ сдѣлалъ. Въ сумочку — у всякаго бродяги сумочка полагается — въ сумочку мясо покласть, пошелъ на дорогу, да и объявился: „такъ и такъ, молъ, человѣчьимъ мясомъ питался“. Чтобъ заарестовали и въ тюрьму отправили. Ежели бъ не это, назадъ бы на работы послали. А это преступленіе тяжкое. Для того и сдѣлалъ. Потому, извѣстно было, что такіе случаи бывали, въ тайгу съ работъ уходили, товарищей убивали и мясо ѣли. Вотъ и я на себя наклепалъ.

Но Колосковъ рассказываетъ не всю правду.

— Конфузится! — объяснилъ мнѣ одинъ изъ каторжанъ. — Человѣкъ въ новый. А намъ доподлинно извѣстно, что ѣлъ.

Я видѣлъ свидѣтелей того, какъ арестованнаго Колоскова съ его страшной сумкой привели на работы.

Каторжане его ругали, хотѣли избить, и убили бы, если бы не защитили надзиратели. Каторга не хотѣла вѣрить такому ужасному преступленію и заставляла Колоскова ѣсть при ней найденное у него жареное мясо.

— Какъ же ты говоришь, что убилъ и ѣлъ? Докажи свою храбрость. Ышь!

И Колосковъ подъ угрозами ѣлъ при каторжанахъ.

— Хорошее, вкусное мясо! Лучше всякаго скотскаго!

Онъ даже смѣялся при этомъ. „Никакой провинности у него въ лицѣ не замѣчалось“, какъ свидѣлствуютъ очевидцы.

Я какъ-то въ разговорѣ упомянулъ Колоскову про эти подробности:

— Что жъ они, врутъ, что ли?

Колосковъ отвернулся:

— Что ужъ про то вспоминать, что было!—махнулъ онъ рукой.

Изъ двухъ другихъ „онорскихъ людоедовъ“ живъ только одинъ Васильевъ. Его товарищъ Губарь, съ которымъ вмѣстѣ они совершили преступленіе, умеръ, не перенеся наказанія.

Исторія снова та же, что и у Колоскова. Товарищъ Васильева, покойный Губарь, судя по портрету, человекъ тупой, жестокий и злой, былъ однимъ изъ отчаяннѣйшихъ „Ивановъ“, котораго трепетала тюрьма. Хановъ точно такъ же сначала возвелъ его въ званіе надсмотрщика, а затѣмъ перевелъ въ рабочіе и началъ „укрощать“.

Губарь не выдержалъ, подговорилъ Васильева и Оедотова, юношукаторжанина, 20 лѣтъ, и вмѣстѣ съ ними бѣжалъ.

Оедотовъ былъ убитъ Губаремъ на второй же день.

— Я такъ думаю, онъ для того его и уговорилъ бѣжать, чтобы убить и съѣсть. Ужъ заранѣе у него въ мысляхъ было!—говорить Васильевъ.

Въ рассказѣ Васильева, очень подробномъ и детальномъ, самое страшное—это ночь передъ убійствомъ.

— Оедотовъ-то ничего не зналъ. А меня дрожь брала,—потому я-то слыхалъ, что Губарь и раньше, когда съ каторги бѣгалъ, товарищей убивалъ и тѣломъ питался. Какъ пришла ночь, Оедотовъ заснулъ, я не сплю, зубъ на зубъ не попадаетъ: не убилъ бы Губарь. Бѣжали, извѣстно, безъ всего. На просѣкъ-то и такъ дошли съ голода, съ чего скопишь? Животы подводить. Губарь мнѣ и говорить на разсвѣтѣ: „Будетъ, что ѣсть“, и на Оедотова головой

кивнулъ. Меня въ холодъ бросило: „Что ты?“ Духъ индо захватило. Да страхъ взялъ: „Ну, какъ откажусь, а онъ потомъ Федотова подговорить, да меня они убьютъ“. Ну, и согласился. Отошелъ это и испить къ ручеечку, вертаюсь, а мнѣ навстрѣчу Губарь идетъ бѣлый, ровно полотно. „Есть, — говорить, что ѣсть!“ Тутъ и пошла мы къ тѣлу...

Васильевъ здоровенный 35-лѣтній мужчина, говорятъ, необыкновенной физической силы. Какъ большинство очень сильныхъ людей онъ необыкновенно добродушенъ. И я съ изумленіемъ смотрѣлъ на этого великана, бѣлобрысаго, съ волосами — цвѣта льна, кроткими и добрыми глазами, говорящаго съ добродушной, словно виноватой улыбкой. Такъ мало онъ напоминаетъ „людоѣда“.

Меня предостерегали отъ знакомства съ Васильевымъ. Послѣ поимки онъ сходилъ съ ума, до сихъ поръ волнуется и приходитъ въ бѣшенство при всякомъ напоминаніи о дѣлѣ.

Но интересъ къ этому необыкновенному преступнику былъ ужъ очень великъ, — я познакомился съ Васильевымъ и, вызвавъ его въ тюремную канцелярію, которая въ свободные часы была предоставлена мнѣ для свиданія наединѣ съ арестантами, спросилъ его, — не могу ли быть ему чѣмъ-нибудь полезнымъ? Васильевъ отячалъ.

— Нѣтъ! Чѣмъ же-съ?

И отъ всякой денежной помощи отказался.

— Зачѣмъ мнѣ?

Онъ сидѣлъ передо мной, видимо, въ большомъ смущеніи, млявъ въ рукахъ шапку, о чемъ-то хотѣлъ заговорить, но не рѣшался. и послѣ очень долгой паузы, смотря куда-то въ сторону, виновато улыбаясь, сказалъ своимъ мягкимъ, кроткимъ, добрымъ голосомъ:

Вамъ... вѣроятно... желательно узнать про мое... дѣло!..

Если вамъ такъ тяжело вспоминать объ этомъ, не надо!

Нѣтъ... Что же-съ... Я вѣдь знаю, вамъ не изъ любопытства... Вамъ изъ науки... Мнѣ Полуляховъ говорилъ...

Полуляховъ, какъ болѣе просвѣщенный среди каторжанъ и пользующійся у нихъ большимъ авторитетомъ, былъ мнѣ очень полезенъ, разъясняя своимъ товарищамъ, что я не слѣдователь, не чиновникъ, что меня нечего бояться.

— Мнѣ Полуляховъ говорилъ, — продолжалъ Васильевъ, — что всю нашу жизнь, какъ есть, описать хотите... Если вамъ нужно мое дѣло, извольте-съ... я готовъ...

И онъ разсказалъ мнѣ, краснѣя, блѣднѣя, волнуясь отъ сграш-ныхъ воспоминаній, все подробно, какъ они подошли, вырѣзали



мягкія части изъ трупъ, вынули печень и сварили супъ въ котелкѣ, который унесли съ собой съ работъ.

— Молоденькой кропивки нащипали и положили для вкуса.

Васильевъ, по его словамъ, сначала не могъ ѣсть.

— Да ужъ очень животы подвело. А тутъ Губарь сидитъ и уплетаетъ... Ълъ.

Когда они были пойманы, Васильевъ разсказалъ то же самое начальству, то же, со всѣми подробностями, онъ „спокойно“ разсказалъ доктору, когда его съ Губаремъ привели наказывать плетью.

Что это было за „спокойствіе?“ Быть — можетъ, спокойствіе чело-вѣка, въ которомъ все заостенѣло отъ ужаса.

Васильева каторга „жалѣла“:

— Онъ не по своей винѣ. Не онъ началъ. Онъ не такой чело-вѣкъ.

Губаря каторга ненавидѣла. Это былъ отвратительнѣйшій и грознѣйшій изъ „Ивановъ“, страхъ и трепетъ всей тюрьмы. Къ тому же, какъ я уже говорилъ, про него ходила молва, что онъ и равше въ бѣгахъ ѣлъ людей.



„Оморскій людоедъ“ Васильевъ.

На Сахалинѣ всѣ въ одинъ голосъ говорили, что каторга, сложившись по грошамъ, заплатила палачу Комлеву 15 рублей, чтобъ онъ задралъ Губаря насмерть.

Палачи — артисты, виртуозы въ искусствѣ владѣть плетью, — и никакой самый опытный начальническій глазъ не различитъ, съ какой силой бьетъ палачъ. Кажется, все время одинаково со страшной силой. А на самомъ дѣлѣ есть сотни стѣн-ковъ.

Фактъ тотъ, что Васильевъ и Губарь были приговорены къ одному и тому же количеству плетей. Ихъ наказывалъ Комлевъ въ одинъ и тотъ же день. Васильевъ вынесъ все наказаніе сполна и остался неискалѣченнымъ. Губаря послѣ 48-го удара въ безчувственномъ состояніи отнесли въ лазаретъ, и черезъ три дня онъ умеръ. Онъ былъ простеганъ до паховъ. Образовалось омертвѣніе.

Я спрашивалъ у Комлева, правда ли, что онъ получилъ 15 рублей за то, чтобы забить насмерть Губаря.

Старый палачъ не отвѣтилъ ни „да“ ни „нѣтъ“, онъ сказалъ только:

— Что жъ, я человѣкъ бѣдный!

И, помолчавъ немного, привелъ все извиняющую причину:

— Сакадинъ!

Мнѣ рассказывалъ врачъ, который, по обязанностямъ службы, присутствовалъ при этомъ страшномъ наказаніи.

Комлевъ явился, чтобы „порѣшить“ человѣка, и рисовался и позировалъ. Онъ вообще немножко „романтикъ“ и любилъ порисоваться во время „дѣла“. Онъ явился въ красной рубахѣ, черномъ фартукѣ, въ какой-то, имъ самимъ сочиненной, особой черной шапкѣ.

Приготовляясь наносить удары, онъ поднялся на цыпочки, чтобы казаться выше. Съ хмурымъ, вѣчно угрюмымъ лицомъ, со слезающимися мрачными глазами и воспаленными вѣками, маленькій, жилистый, мускулистый, онъ, дѣйствительно, долженъ былъ быть страшнѣе и отвратительнѣе.

— Ужъ одна торжественность Комлева говорила, что „что-то“ произойдетъ особенное!—рассказывалъ мнѣ врачъ.—Онъ такъ гаркнулъ свое традиціонное „поддержись“, передъ тѣмъ, какъ нанесъ первый ударъ, что я задрожалъ и отвернулся.

Комлевъ „клатъ“ удары не торопясь, съ разстановкой, „рѣже“, „крѣпче“, чтобы наказуемый „прочувствовалъ“ каждый ударъ.

— Чаше! Скорѣй!—нѣсколько разъ кричалъ докторъ.

Чаше не такъ мучительно. Ошеломленный человѣкъ не успѣваетъ почувствовать каждый ударъ въ отдѣльности.

Но Комлевъ не торопился... Послѣ 48 удара Губарь былъ „готовъ“.

— Но и 48 такихъ ударовъ выдержать. Что за богатырь былъ!

— Послѣ этого на меня напалъ страхъ-съ, — рассказывалъ Васильевъ.

— Послѣ наказанія?

— Нѣтъ-съ, не отъ наказанія, а оттого, что я ѣлъ. Такой страхъ напалъ, — свѣта боялся.

Васильевъ сошелъ съ ума. Его охватилъ ужасъ. Онъ заболѣлъ маніей преслѣдованія въ самой бурной формѣ.

Онъ не спалъ ночей, увѣряя, что слышитъ, какъ арестанты стовариваются его убить и самого съѣсть. Когда его посадили за буйство въ карцеръ, онъ отломалъ доску отъ стѣны и такъ двѣнадцать часовъ подъ рядъ простоялъ на нарахъ, не мѣняя позы, съ высоко поднятой надъ головой доской, крича дикимъ голосомъ:

— Не дамъ! Убью, кто войдетъ!

И никто не рѣшался подступиться къ разъярившемуся Геркулесу. Его взяли какъ-то хитростью и помѣстили въ лазаретъ. Тамъ онъ отказывался принимать пищу, говоря, что докторъ хочетъ его отравить, и, наконецъ, въ одинъ ужасный день бѣжалъ. Поистинѣ ужасный день: цѣлый мѣсяцъ Васильева не могли поймать, и это былъ ужасный мѣсяцъ для почтеннаго, любимаго за гуманность всею каторгою врача Н. С. Лобаса. Цѣлый мѣсяцъ Васильевъ рыскалъ гдѣ-то кругомъ, ища случая встрѣтить и убить врача. Цѣлый мѣсяцъ домашніе г. Лобаса трепетали, когда онъ выходилъ изъ дома.

Наконецъ безумнаго поймали, подъ наблюденіемъ того же г. Лобаса онъ оправился, успокоился и теперь, если кого любить Васильевъ, такъ это г. Лобаса.

— Вотъ до чего страхъ напалъ, — Николая Степановича хотѣлъ убить! — рассказывалъ Васильевъ. — Тяжко мнѣ!

Колосковъ не признается „постороннимъ“, Васильевъ рассказываетъ, какъ ѣлъ человѣческое мясо, — потому Васильевъ пользуется большою извѣстностью, какъ „людоедъ“.

— Всякій, кто пріѣдетъ, сейчасъ на меня смотрѣть. Смотрять всѣ... Бѣжалъ бы.

Къ концу бесѣды Васильевъ началъ все сильнѣе и сильнѣе волноваться.

— Бѣжалъ бы. А то какъ человѣкъ подходитъ, такъ и смотритъ: „Ты тѣло ѣлъ?“ А чего смотрять! Развѣ я одинъ? Сколько есть, которые въ бѣгахъ убивали и ѣли. Да молчать!

Каторга говоритъ, что въ кандалной тюрьмѣ не мало такихъ, которые въ бѣгахъ питались съ голоду мясомъ убитыхъ или умершихъ товарищей.

Мнѣ показывали нѣсколько такихъ, которые винулись каторгѣ, а одинъ изъ нихъ, на котораго всѣ указывали, что онъ ѣлъ мясо умершаго отъ изнуренія товарища, когда я спросилъ его, правду ли про него говорить, отвѣчалъ мнѣ:

— Все одно птицы склюютъ. А человѣку не помирать же!

## Каторжанка баронесса Геймбрукъ.

Это одно изъ самыхъ тоскливыхъ моихъ сахалинскихъ воспоминаній.

Баронесса? Баронесса у насъ булки печеть, уроки даетъ и платя шьетъ!—говорили мнѣ въ селеніи Рыковскомъ.

На порогъ избы меня встрѣтила высокая, худая женщина съ умными, выразительными глазами. Сколькихъ лѣтъ? Право, трудно опредѣлить лѣта женщины въ каторгѣ. Сахалинъ, отнимая у человека все, что есть хорошаго, прежде всего отнимаетъ молодость, а потомъ здоровье.

Я представился.

— Баронесса Геймбрукъ! — отвѣтила она, подчеркивая титулъ, котораго лишена.

„Дѣло баронессы Геймбрукъ, обвиняемой въ поджогѣ“, надѣялся, очень большого шума въ Петербургѣ. Это былъ „громкій“ и „знаменитый“ процессъ.

Въ исторіи женскаго образованія въ Россіи имя баронессы Геймбрукъ займетъ скромное, но все же видное мѣсто. Ей принадлежитъ инициатива устройства женскаго профессиональнаго образованія въ Россіи; она была первой открывшей женскую профессиональную школу.

Отлично образованная, принадлежавшая къ хорошему кругу, имѣвшая очень вліятельное родство, но не имѣвшая средствъ къ жизни, молодая женщина съ увлеченіемъ отдалась мысли:

— Надо научить женщину жить своимъ трудомъ. Вооружитъ ее на борьбу за существованіе.

Дѣло шло хорошо. Баронесса работала, учила работать другихъ, перебивалась, сводила концы съ концами.

— Скучно только одной было! — съ грустной улыбкой вспоминаетъ она. — Работашь, работаешь, кипишь въ дѣлѣ, а останешься одна, такое полное одиночество. Ни одной близкой души. Родня... Но родня смотрѣла съ недовѣріемъ, даже стѣснялись мои и „чужбями“...

Она познакомилась съ какимъ-то отставнымъ военнымъ. Они понравились другъ другу, потомъ полюбили, возникла „связь“. Пошли „разговоры“.

— Ужасно неудобно! И передъ родными пеловко и, наконецъ, какъ начальницѣ школы...

Надо было вѣнчаться. Онъ тоже только объ этомъ и думалъ. Но у него были зацутаны, разстроены дѣла, ему нужно было отъ кого-то откупиться, — денегъ не было.



— Знаешь что,—сказалъ онъ ей однажды,—у насъ есть исходъ. Страховыя преміи за твою обстановку. Если съ умомъ поджечь...

— Ты съ ума сошелъ!

— Никто не узнаетъ. Ты даже будешь ни при чемъ. Дай только согласіе. Безъ тебя все будетъ сдѣлано. У меня есть такой человѣчекъ...

Она протестовала. Онъ убѣждалъ, что „развѣ мало въ Петербургѣ такъ дѣлають“, что „риску никакого“, что „человѣчку“ ужъ не впервой, что „человѣчекъ“ знаетъ, какъ устроить:

— Ты себя уѣдешь въ театръ. Ты будешь ни при чемъ.

Въ концѣ-концовъ онъ предложилъ на выборъ:

— Другого выхода, ты знаешь, нѣтъ. Такъ наша связь продолжаться не можетъ. Значить, либо согласиться на такую комбинацію, либо между нами все должно быть кончено.

Умолялъ, заклиналъ ее ихъ любовью.

Она согласилась:

— Хорошо. Дѣлай.

Однажды она поѣхала въ театръ, вернулась и застала у себя въ квартирѣ пожаръ.

Возникло подозрѣніе, выяснился поджогъ. Баронессу Геймбрукъ и ея „любовника“ арестовали и посадили въ домъ предварительнаго заключенія. Тамъ они какимъ-то образомъ нашли возможность обмѣниваться записками.

Дѣло въ судѣ длилось два дня. Оправданіе баронессы Геймбрукъ было несомнѣнно. Уликъ, что она знала о готовившемся поджогѣ, не было никакихъ.

Однажды во время перерыва ея соучастникъ обратился къ баронессѣ съ вопросомъ:

— Если меня сошлютъ, пойдешь за мной въ Сибирь?

— Вотъ еще! Очень надо!

„Такъ-таки этими словами и сказала!—говоритъ она.—Такъ, знаете, изъ озорства изъ какого-то. Вотъ, молю, тебѣ! Я же за то, что твои дѣла были запутаны, и страдать теперь должна!“

— Не пойдешь? Хорошо же!

Онъ передалъ суду записку, которую она переслала ему въ домъ предварительнаго заключенія:

„Если слѣдователь скажетъ тебѣ, будто я созналась, не вѣрь. Я ни въ чемъ не созналась, не признавайся и ты“.

Сомнѣній не было. Оба были обвинены.

— Подлецъ! Зачѣмъ ты это сдѣлалъ? — спросила она въ перерывѣ послѣ вердикта присяжныхъ.

— Теперь я, по крайней мѣрѣ, знаю, что ты другому принадлежать не будешь. Вмѣстѣ пойдемъ, вмѣстѣ будемъ!

Его сослали въ каторгу въ Сибирь, ее — на Сахалинъ

Въ посту Дуэ пришли въ рѣшительное недоумѣніе:

— Что дѣлать съ „каторжницей-баронессой“?

Въ „сожительницы“ къ поселенцу итти не хочется:

— Я сослана въ каторгу, а не для этого!

Пробовали нѣкоторые изъ гг. служащихъ взять ее къ себѣ въ „прислуги“.

Но при первомъ ласковомъ жестѣ она отскакиваетъ въ сторону:

— Вы можете заставлятъ меня работать, но этого заставлятъ вы меня не можете.

Женскихъ тюремъ нѣтъ.

Насильно отдать въ сожительство:

— Все-таки баронесса... неудобно какъ-то.

И напрасно жены гг. служащихъ убѣждали:

— Да какая она баронесса? Чего вы съ нею миндальничаете? Каторжанка! Сбили бы спесь!

Полуграмотныя жены служащихъ сразу возненавидѣли „гордячку“, „фрю“.

— Туда же „баронесса“! Тутъ, матушка, баронессъ нѣту!

А она все-таки была единственной портнихой на Сахалинѣ! Все-таки единственной, которая могла сшить платье, „какъ слѣдуетъ“, „по петербургской модѣ“. Къ ней все же приходилось обращаться, и это бѣсило супруговъ гг. служащихъ.

— Вѣдь были среди нихъ и такія, которыя обращались съ прислугой сравнительно вѣжливо, а со мной не могли! — съ улыбкой вспоминаетъ „каторжанка-баронесса“. — Зоветъ меня, а приду — ножъ острый. Чуть что не такъ, не по ней, складочка какая, оборочка, ногами затопаетъ, кричить: „Что ты думаешь? Ты баронесса? А? Баронесса? Ты каторжанка! Лишенная правъ! Понимаешь?“ Стоишь, молчишь, улыбаешься...

И презрительная улыбка, съ которой вспоминаетъ она объ этомъ, вѣроятно, была и тогда на лицѣ баронессы Геймбрукъ.

Супругъ гг. служащихъ это окончательно выводило изъ себя.

— Сейчасъ бѣгутъ мужьямъ жаловаться. Я молчу, а онѣ кричать: „Уйми ты эту стерву!“

Жизнь ея сложилась такъ. Служащіе махнули на нее рукой: „Пусть живетъ, какъ знаетъ! Ну, ее къ чорту!“ Жены служащихъ молили Бога:

— Хотъ бы портниху хорошую изъ Россіи прислали.

А за неимѣніемъ таковой, заказывали „баронессѣ“, ругались при этомъ ругательски, платили невѣроятные гроши и кричали:

— Что жъ ты не благодарышь? А? Мало тебѣ? Недовольна? „Баронесса“ ты? А?

Эта „молчкомъ-молчавшая“ баронесса была коломъ въ глазу женъ гг. служащихъ.

— Вы себѣ представить не можете, что это за дрянъ, что за мерзавка эта „баронесса“!—разсказывала мнѣ одна.—По человѣчеству иногда пожалѣть захочешь, хоть и каторжница, а все-таки жалъ. Заказы ей даешь, чтобы съ голода не сдохла, сдѣлать для нея что-нибудь хочешь. Такъ нѣтъ, куда тебѣ! Фанаберія! Говорить не хочетъ! Принесетъ заказъ, хоть бы слово сказала! Не желаетъ! Видъ такой, словно она тебѣ одолженіе дѣлаетъ! Она вѣдь баронесса! Какъ же ей! Мелкая такая душонка, мразь! Уколотъ на каждомъ шагу норовитъ. Въ платьѣ что, скажешь, не такъ, сейчасъ тебѣ: „Извините, сударыня, въ Петербургѣ такъ носятъ“. Она вѣдь изъ Петербурга, она баронесса, она все видѣла, все знаетъ, а я что? Да я жена служащаго! Жена твоего начальника! Честная женщина! А ты каторжанка, ссыльная, тварь, поджигательница!.. Этого понять не хочетъ.

Такъ тянулась „каторга“ баронессы. Работала за гроши, кое-какъ билась, жила и... молчала.

— Думала, говорить отучусь!—съ улыбкой вспоминаетъ „баронесса“.

Съ одной стороны, каторжане, „шпанка“, „сожительница“, что можетъ быть общаго съ ними у молодой интеллигентной женщины? Съ другой стороны, жены служащихъ, завидѣвъ которыхъ издали бѣги на другую сторону:

— Сейчасъ „ты“. Руганъ. Попреки „баронесса“.

— Такъ и жила между небомъ и землей. Шпанка попрекаетъ, глумится: „баронесса“! Интеллигенція здѣшняя попрекаетъ, глумится: „баронесса“!

Это стало, наконецъ, невыносимымъ, и баронесса пошла въ сожительницы къ нѣкому фельдшеру, сосланному за убійство своей жены. Все-таки былъ человѣкъ поинтеллигентнѣе другихъ.

Пошла не любя.

— Вы его знаете. Можно ли такого любить? Да ужъ очень тошно, тоска взяла. А онъ клялся и божился, что исправится.

Это вызвало всеобщій злорадный восторгъ:

- А? Что! Къ фельдшершкѣ въ сожительницы пошла! Вотъ вамъ и „баронесса“! „Баронесса“! — Ха-ха-ха!

— Совсѣмъ потерянная личность! съ брезгливымъ сожалѣніемъ говорила мнѣ супруга одного изъ крупныхъ служащихъ. Даже досадно, что она когда-то титулъ такой носила! До чего дошла! Съ фельдшеромъ спуталась! Разводили ихъ потомъ, — грязь, грязь какая!

Фельдшеръ — грязный комокъ сала, возбуждавшій во всѣхъ отвращеніе. Ничего протививъ этого толстяка съ эспаньолкой, опущенной подъ губой, на которой красовалась какая-то злокачественная лезва, я не видалъ на всемъ Сахалинѣ.

— Вотъ экземплярчикъ! — показывалъ на него въ лицо докторъ. Опять какую-нибудь малолѣтнюю приторговываешь?

— Есть экземплярчикъ! — расплывалось у фельдшера жирное, лоснящееся лицо.

Онъ практикуетъ потихоньку, пользуясь невѣжествомъ поселенцевъ, воруетъ лѣкарства, — и все, что зарабатываетъ такимъ способомъ, тратитъ на „штучки“, „экземплярчики“, „предметы“, предпочитая „малолѣточекъ-съ“.

Интеллигентная женщина скоро надѣла развратнику-фельдшеру.

— Забеременѣла я еще отъ него! — съ дрожью отвращенія вспоминаетъ баронесса. — Господи, что тутъ пошло! Что заработаю, онъ тащить на покупку дѣвчонокъ. Въ домъ ихъ таскать началъ. Отлучись изъ дому, придешь, онъ какія-нибудь мерзости ужъ дѣлаетъ. Во дворъ выйдешь, онъ тамъ подъ навѣсомъ. Придетъ избитый весь, исколоченный... Выгнала я его. Не идетъ. „Моя, — кричить, — изба!“ Начальству я на него жаловалась. Господи! Сколько униженій! Хохочутъ всѣ: „Ну, что же, баронесса, вы съ вашимъ фельдшеромъ ссоритесь? Вы помирились бы! А? Онъ вѣдь человекъ интеллигентный!“ Насилу развязали меня съ нимъ.

Фельдшеръ ушелъ, баронесса осталась съ ребенкомъ отъ него.

Удивительно странное впечатлѣніе испытывалъ я, когда сидѣлъ въ гостяхъ у этой „каторжницы-баронессы“, теперь ужъ поселенки.

Мы сидѣли въ маленькой, узенькой комнаткѣ, съ чистой постелью, покрытой одѣяломъ изъ сѣраго арестантскаго сукна.

На окнѣ стояла герань, на комодѣ подъ лампой была сшитая изъ лоскутковъ подставка. Это все-таки придавало маленькой, темной комнаткѣ какой-то уютъ. Было видно, что живетъ человекъ, привыкшій къ нѣкоторому комфорту.

Разговаривая со мной, баронесса курила, гасила окурки объ столъ и оставляла ихъ тутъ же, на столѣ, среди кучи пепла, пле-



вала посреди пола, и отъ этого вѣяло какимъ-то бездомовьемъ; сахлаинской оголѣлостью, каторжнымъ отсутствіемъ женственности.



Видъ поста Дуэ — мѣста ссылки баронессы Геймбрукъ.

Когда въ комнату входилъ работникъ-каторжникъ, ея помощникъ по булочной, она начинала говорить со мной по-французски

Французскій языкъ у нея чудный, красивый, элегантный. Тотъ чудный, красивый и элегантный, литературный французскій языкъ, которымъ говорятъ хорошо воспитанные русскіе люди. А когда мы переходили на русскій языкъ, она говорила, сама того не замѣчая, на „каторжномъ“ языкѣ: ..

— Вѣдь согласитесь, на фартъ итти я не могу... Заработаешь тяжкимъ трудомъ, дрожишь: шпанка, того и гляди, пришьеть.

Такое странное впечатлѣніе производило это чередованіе превосходнаго французскаго языка съ каторжнымъ жаргономъ у этой женщины, которая лихорадочно хватается за свой титулъ „баронессы“, потому что дрожить въ ужасѣ отъ званія „каторжанки“.

Я познакомился съ баронессой въ тяжкое для нея время.

Незадолго передъ тѣмъ въ селеніи Рыковскомъ, гдѣ въ это время жила баронесса, случилось „громкое происшествіе“, о которомъ я уже говорилъ <sup>1)</sup>, и баронесса дрожала, чтобы ея „не засыпали“.

Однажды къ ней явился молодой человѣкъ, бродяга Тумановъ, переведенный въ Рыковское писаремъ полицейскаго управленія, и отрекомендовался:

— Князь такой-то.

— Онъ дѣйствительно князь, — увѣряла меня баронесса, — не знаю, что заставило его отказаться отъ своего имени и стать бродягой, онъ объ этомъ избѣгалъ говорить. Человѣкъ воспитанный, очень образованный, умный, только страшно нервный, до болѣзненности нервный...

Онъ попросилъ разрѣшенія бывать. Баронесса разрѣшила, и Тумановъ каждый день, какъ кончится работа въ канцеляріи, приходилъ къ ней.

Богъ знаетъ, было ли что между ними, но, несомнѣнно, что этихъ двухъ людей, одинаковыхъ по образованію, по кругу, къ которому они принадлежали, влекло другъ къ другу. У нихъ были общіе взгляды, общіе интересы, даже нашлись общіе знакомые „по Петербургу“.

Баронесса говоритъ, что она:

— Отдыхала душой въ этихъ бесѣдахъ! Вдругъ встрѣтить здѣсь, на Сахалинѣ, молодого человѣка, воспитаннаго, милаго, — вы только подумайте!

А онъ говорилъ:

---

<sup>1)</sup> См. 1 часть гл. „Смертная казнь“.

— Знаете, когда я говорю съ вами, мнѣ кажется, что ни каторги ни бродяжества нѣтъ, что мы съ вами сидимъ гдѣ-нибудь въ Петербургѣ...

Какъ вдругъ однажды Тумановъ явился страшно разстроенный, вѣвъ себя. Ни за что ни про что,—злой послѣ вчерашняго проигрыша въ карты,—чиновникъ Г. выругалъ его „подлецомъ и мерзавцемъ“.

— Я этого такъ оставить не могу! — говорилъ, страшно волнуясь, Тумановъ.—Меня могутъ выдрать, потому что я бродяга! Но „мерзавцемъ и подлецомъ“ меня называть не смѣютъ! Я никогда „подлецомъ и мерзавцемъ“ не былъ! Я потому и въ каторгѣ, что я не подлецъ и не мерзавецъ! Этого я оставить не могу!

— Такимъ я его никогда не видала! — говорить баронесса.

Молодой человѣкъ, вспыльчивый, горячій, рѣшившій „такъ не оставить“ начальнику оскорбленіе... на Сахалинѣ... У баронессы „душа замерла“:

— Я ужъ и такъ изъ-за одного поплатилась. Довольно съ меня!

Она сказала Туманову:

— Вы что-то задумали, оставьте меня. Уходите отъ меня, сейчасъ же уходите. Я не хочу ничего знать, не хочу погибать...

— Такъ и вы меня гоните? И вы?

— Уходите отъ меня, если вы честный, порядочный человѣкъ...

— Хорошо же...

Тумановъ ушелъ, а вечеромъ все Рыковское было поднято на ноги: бродяга Тумановъ покушался на жизнь чиновника Г.

Въ то время участь Туманова еще была не рѣшена, всѣ гг. служащіе единогласно требовали „примѣрнаго наказанія“ Туманова, т.-е. повѣшенія,—для „острастки распущенной каторги“,—и баронесса Геймбрукъ просила, молила, нельзя ли что-нибудь сдѣлать для Туманова.

— Я себя виню, себя. Можетъ-быть, это мои слова на него такъ подѣйствовали. Дѣйствительно, въ такую минуту почувствовать себя совсѣмъ однимъ! Но посудите, что жъ я могла сдѣлать. Человѣкъ собирается Богъ знаетъ что сдѣлать, какъ могла я съ нимъ говорить? Вѣдь и я погибну! Да что я! Если бы я одна была, я бы о себѣ, можетъ-быть, и не подумала. Но мой ребенокъ, съ нимъ что будетъ? Имъ развѣ я могу рисковать?

Этотъ ребенокъ отъ нелюбимаго, отвратительнаго, презираемаго человѣка, — все; что есть въ жизни у баронессы.

Она съ дрожью отвращенія вспоминаетъ о беременности отъ фельдшера и безумно любить ребенка.

Пятилѣтняго, слабаго, болѣзненнаго, золотушнаго мальчика, ради котораго она работаетъ день денской, не покладая рукъ, мѣситъ тѣсто, жарится у печки, сажая хлѣбы, сидитъ согнувшись, шьетъ за гроши платья женамъ чиновниковъ, даетъ уроки французскаго языка дѣтямъ священника.

Любить, и безъ слезъ видѣть не можетъ своего ребенка.

— Они и его „барономъ“ прозвали. Издѣваются. Отъ чиновничьихъ дѣтей его гонятъ, онъ долженъ играть со шпанкой...

Любить полной ужаса любовью:

— Вѣдь это будущій убійца растетъ! — съ ужасомъ говорятъ она. Вы только подумайте: наслѣдственность-то какая. Себя и преступной натурой, конечно, не считаю. Какая я преступница! Но вы посмотрите на отца. Убійца, полусумасшедшій, развратникъ. Вѣдь, вы знаете, онъ тутъ со своимъ развратомъ въ такую недавно исторію влѣзъ, мнѣ же пришлось его откупить: 20 рублей послѣднихъ дала, чтобы въ тюрьму не сажали. Дала, потому что ребенокъ его все-таки „папой“ при встрѣчахъ зоветъ, такъ чтобы ребенка не дразнили: „тятка въ тюрьмѣ“... И потомъ, что можетъ выйти изъ него здѣсь, на Сахалинѣ! Что передъ глазами? Ежедневныя убійства, поголовный развратъ, плети, каторга. Вотъ вы на игры ихъ посмотрите, играютъ „въ палачи“, въ повѣшенье, палачъ у нихъ—герой, безсрочный каторжникъ—герой. Вы спросите у десятилѣтняго мальчика, что такое тюрьма? „Мѣсто, гдѣ кормятъ!“ Гдѣ лучше, въ тюрьмѣ или на волѣ? „Знамо въ тюрьмѣ, на поселеніи съ голода подохнешь“. Вѣдь все это мальчикъ съ дѣтства въ себя впитываетъ. Тюрьма для него что-то обыденное, неизбежное, заурядное, карьера. Что изъ него выйдетъ? То же, что и изъ другихъ! Убійца. Вѣдь я его на каторгу рѣзю, на каторгу! Убійцу будущаго!.. Но пока, пока онъ маленький, въ немъ еще ничего этого нѣту, онъ ребенокъ, такой же, какъ и всѣ...

И она при мнѣ, въ какомъ-то истерическомъ припадкѣ, со слезами цѣловала своего мальчика, который явился домой плачущій, его только что отогнали отъ дѣтей начальника округа и обругали „барономъ“.

Мама, не вели имъ ругаться барономъ!

„Не вели!“

Уѣзжал изъ Рыковского, въ свое послѣднее свиданіе съ баронессой, когда она провожала меня до дверей, я рѣшился спросить у нея:



Ну, а тотъ... съ которымъ вы судились... объ немъ вы не имѣете извѣстій?

— Онъ въ Сибири, кончилъ, какъ и я, свой срокъ, поселенцемъ. Очень бѣствовалъ, писалъ, я послала ему денегъ, такъ гроши, какіе были. Очень круто бѣднягѣ пришлось каторга. Недавно еще получила письмо. Боленъ, жалуется, просить послать немножко денегъ...

— И вы?

— Пошлю.

И поцѣловалъ ея руку и пошелъ.

— А? Откуда? Отъ пріятельницы, отъ „баронессы“!—встрѣтилъ меня по дорогѣ смотритель тюрьмы.—До мужичинъ ужъ больно охотница, подлая баба! Съ фельдшеромъ путалась; Тумановъ, я знаю, къ ней ласы точить шлялся. Я вѣдь все знаю, хе-хе! Она тутъ за фельдшера 20 цѣлковыхъ, послѣднихъ, чай, заплатила, въ бѣду милъ дружокъ попался. Она и Туманову въ тюрьму потихоньку бѣлый хлѣбъ посылала. Да вы что думаете? Она и къ прежнему своему пріятелю все время деньги посылала. Я съ почты знаю! Всѣ они у нея на иждивеніи. Любительница мужичинъ, подлая! Трое у нея было! Распутная! Черезъ то и въ каторгу пошла, что распутная, черезъ любовника!..

## Ландсбергъ.

25 лѣтъ тому назадъ въ Петербургѣ произошла трагедія, имѣвшая огромное значеніе для о. Сахалина. Блестящій гвардейскій офицеръ-саперъ Ландсбергъ, наканунѣ женитьбы на богатой и знатной невѣстѣ, наканунѣ большой и блестящей карьеры, зарѣзалъ, съ цѣлью грабежа, ростовщика Власова и его служанку.

Это событіе произвело неописуемую сенсацию, и имя Ландсберга прогремѣло на всю Россію. Еще больший ужасъ этому убійству придавало одно трагическое *qui pro quo*.

Ландсбергъ былъ карьеристомъ. Онъ былъ человекомъ очень небогатымъ, тянулся изо всѣхъ силъ и служилъ въ гвардіи, чтобы быть на виду и сдѣлать карьеру. Старый чиновникъ, занимавшійся ростовщичествомъ, Власовъ, относился съ большой симпатіей къ небогатому офицеру, старавшемуся выйти на „дорогу“, и ссужалъ его деньгами. У Власова было много векселей Ландсберга. Когда карьера была почти ужъ сдѣлана, и Ландсбергъ былъ объявленъ женихомъ богатой и знатной невѣсты, Власовъ началъ грозить ему:

Вотъ я тебѣ къ свадьбѣ „сюрпризъ“ устрою Такой сюрпризъ, какого и не ожидаешь.

Ландсбергъ испугался, что Власовъ предъявить ко взысканію его векселя, выставить его запутавшимся бѣднякомъ, желающимъ жениться для поправки обстоятельствъ, сорветъ всю карьеру, и рѣшилъ достать векселя у Власова. Онъ явился къ Власову, уславъ старуху-служанку за квасомъ, зарѣзалъ бритвой стараго ростовщика, затѣмъ, когда служанка вернулась, покончилъ и съ ней и похитилъ свои векселя, лежавшіе отдѣльной, приготовленной ужъ пачечкой.

Среди бумагъ послѣ покойнаго нашли заготовленное имъ письмо къ Ландсбергу. Въ этомъ письмѣ Власовъ желалъ всякаго счастья своему протеже и въ видѣ подарка на свадьбу посылалъ „прилагаемые при семъ“ всѣ векселя.

Это и былъ „сюрпризъ“, которымъ съ улыбкой „грозилъ“ старичокъ. Кромѣ того, въ духовномъ завѣщаніи, составленномъ на всякій случай, Власовъ завѣщалъ все свое состояніе... Ландсбергу.

Весь этотъ ужасъ произошелъ потому, что Ландсбергъ не понималъ Власова, по старческой привычкѣ любившаго выражаться нѣсколько иносказательно:

— Хе-хе!.. „Сюрпризецъ“.

Изъ блестящаго офицера съ огромной карьерой впереди, Ландсбергъ превратился въ каторжника съ бритой головой и долгими годами тюрьмы въ перспективѣ.

Когда Ландсберга арестовали, его предупреждали:

— Въ комнатѣ, гдѣ вы сейчасъ останетесь одинъ, на столѣ лежитъ револьверъ. Онъ заряженъ... Того... Будьте поосторожнѣе.

Ландсбергъ холодно отвѣтилъ:

— Не беспокойтесь. Я не застрѣлюсь.

И пошелъ въ каторгу.

Тогда сахалинская колонія еще только начиналась. Кучка забайкальцевъ, невѣжественныхъ, безпомощныхъ, ютились въ посту Дуэ, единственномъ тогда поселеніи на Сахалинѣ, въ маленькомъ ущельѣ, въ трещинѣ между скалами, быть-можетъ, самой скверной дырѣ, какая только существуетъ на земномъ шарѣ, и съ ужасомъ смотрѣли на непроходимую тайгу, которую имъ поручено было превратить въ „цвѣтущую колонію“. Эта кучка забайкальцевъ стояла передъ Сахалиномъ, какъ ребенокъ передъ ошетиившимся медвѣдемъ. Какъ подступиться? Для колоніи прежде всего нужны дороги, а эти люди, родившіеся и выросшіе въ Забайкальѣ, никогда въ глаза не видали даже шоссеиныхъ дорогъ и рѣшительно не знали, какъ „все это дѣлается“.

Каждый ихъ шагъ терѣлъ немедленно же крушеніе. Они „своимъ умомъ“ строили пристань, пристань сносилъ первый же маленькій штормъ. Они „своимъ умомъ“ начали рыть тоннель сквозь гору Жонкьеръ, безъ всякихъ приспособленій, безъ всякихъ знаній, кромѣ одного,—что тоннель роется обыкновенно одновременно съ обѣихъ сторонъ,—и когда двѣ роющія партіи встрѣтятся въ горѣ, тоннель, значитъ, прорытъ. Люди слѣпили, раздувая фитили, людей калѣчило при неумѣлыхъ взрывахъ, но „обѣ роющія партіи“ въ горѣ все не встрѣчались... Онѣ... разошлись въ разныя стороны! Ступивъ шагъ въ тайгу, гг. забайкальцы сейчасъ же завязали и съ ужасомъ должны были отступать назадъ. Они не знали даже, что дороги нужно окапывать канавами. Не окопанныя канавами таежныя „дороги“ заплывали, превращались въ болото.

Въ эту-то критическую минуту каторжный пароходъ и привезъ на Сахалинъ сапера.

Все, что сдѣлано на Сахалинѣ дѣльнаго и путнаго въ смыслѣ дорогъ, устройства поселеній, сдѣлано Ландсбергомъ. И Богъ вѣсть, какая бы судьба постигла сахалинскую колонію, если бы въ Петербургѣ не разыгралось трагическаго *qui pro quo* съ „угрозою“ ростовщика.

Если сейчасъ смотритель тюрьмы, взобравшись на гору, хвастливо вынимаетъ изъ кармана маленькій барометръ и съ видомъ ученаго начинаетъ „по давленію воздуха опредѣлять высоту горы“, это свѣдѣніе занесъ на Сахалинъ Ландсбергъ. Кругомъ все его ученики. Всѣ свѣдѣнія, которыя необходимы были для борьбы съ непроходимой тайгой, занесъ сюда онъ. Ученики иногда не слушались своего „учителя изъ ссыльно-каторжныхъ“, дѣлали „по-своему“ и немедленно же завязали. Памятками этого „поступанья по-своему“ остались покинутыя, утонувшія въ болотѣ поселья, просѣки, брошенные за ненадобностью, дороги, по которымъ надо восемь верстъ ѣхать три съ половиной часа.

Все, что дѣлалось „по-своему“, приходилось бросать и возвращаться къ планамъ Ландсберга. Тѣ работы, которыя предпринималъ на Сахалинѣ Ландсбергъ, показываютъ въ немъ умъ недюжинный, знанія большія и человѣка талантливаго.

Ландсбергъ на Сахалинѣ съ перваго же момента обратилъ на себя особое вниманіе. Даже туда проникла вѣсть о „знаменитомъ процессѣ“, и забайкальцы не могли не заинтересоваться „вчерашнимъ блестящимъ петербургскимъ офицеромъ, вращавшимся въ высшемъ обществѣ“.

Свѣтскій, образованный, на рѣдкость умный, еще болѣе ловкій карьеристъ по натурѣ, Ландсбергъ сразу головой выдѣлился среди всего окружающаго.

— Знаете, — рассказывают моряки, въ тѣ времена плававшіе на Сахалинъ, — подходишь, бывало, къ Дуэ. На пристани, натурально, стоятъ все тамошніе служащіе. И сразу, съ перваго взгляда, самый порядочный изъ всехъ Ландсбергъ. Видна птица по полету.

Но самое главное это, конечно, то, что онъ былъ саперъ. Онъ построилъ имъ пристань, которая не рушилась, кое-какъ, но все-таки поправилъ злосчастный тоннель, и они имѣли возможность отправить въ Петербургъ телеграмму объ открытіи кривого тоннеля, по которому никто не ѣздитъ, въ которомъ только бѣглымъ удобно сидѣть, который никому не нуженъ.

— Тоннель прорыть.

Дорога нужна, — Ландсбергъ показывалъ, какъ это сдѣлать.

Ландсбергъ сразу сталъ на Сахалинѣ „бариномъ“ и получилъ отъ каторги эту кличку. Онъ распорядился работами, командовалъ партіями рабочихъ, фактически былъ начальникомъ, жилъ не въ тюрьмѣ, и ему говорили „вы“, — почестъ на Сахалинѣ рѣдкая.

Но это положеніе, которое Ландсбергъ сразу занялъ, было труднымъ положеніемъ. Безграмотные всегда ненавидятъ грамотныхъ. И сахалинскихъ служащихъ глубоко возмущало „привилегированное“ положеніе ссыльн<sup>но</sup>-каторжнаго“.

— Словно ровня.

Не знаю, какія наказанія приходилось переносить Ландсбергу объ этомъ съ нимъ разговоръ поднимать было, конечно, неловко, но ему приходилось переживать трудныя минуты. Вотъ одинъ изъ случаевъ. Сахалинскій служащій К. особенно возмущался „привилегированностью“ Ландсберга.

— Я ему покажу „привилегированность“! — это превратилось въ пунктъ помѣшательства К.

Однажды онъ засталъ Ландсберга въ кабинетѣ одного изъ служащихъ. Сидѣли и разговаривали. Этого только К. и нужно было.

— Что? Какъ? Сидѣть въ присутствіи начальства? Каторжнику? Заковать въ кандалы! Посадить на недѣлю въ карцеръ!

И Ландсбергъ въ кандалахъ высидѣлъ недѣлю на хлѣбѣ и на водѣ, въ темномъ карцерѣ, а К. гордился:

— Каково я самому Ландсбергу задалъ!

Съ другой стороны и каторгу возмущала „несправедливость“.

— За то же сосланъ, что и мы. Можетъ, еще хуже!

Каторга ненавидѣла „барина“, „бѣлоручку“, „подлипалу“, самозванное начальство, и Ландсбергу надо было держаться очень и очень насторожѣ. При малѣйшемъ подозрѣніи, что онъ „держитъ“ руку начальства, каторга его бы убила.



Тутъ уже ему помогла, быть-можетъ, свѣтская ловкость. Онъ умѣлъ поддерживать отношенія и съ нашими и вашими. И начальство было довольно и для каторги онъ оставался „товарищем“, подчиняющимся ея законамъ. Ловкость, хитрость и изворотливость все время были въ ходу и пускались въ дѣло все долгое время каторги. На Сахалинѣ извѣстенъ, напимѣръ, случай, когда Ландсбергъ спасъ жизнь одному изъ служащихъ. Каторга ненавидѣла этого служащаго, рѣшила его убить на дорожныхъ работахъ, и Ландсбергу было приказано привести его въ засаду.

Привести—рисковать головой. Ослушаться каторги тоже рисковать головой.

Ландсбергъ придумалъ хитрую механику. Онъ повезъ служащаго въ засаду, но по дорогѣ, еще далеко отъ засады, экипажъ „вдругъ“ сломался, и Ландсбергъ убѣдилъ начальство:

— Пѣшкомъ все равно на работы опоздаемъ. Вернемся лучше обратно въ постъ.

И служащій былъ спасенъ и приказаніе каторги не нарушено: везъ человѣка, да не довезъ, не по своей волѣ. А на слѣдующій день Ландсбергъ раскассировалъ зачинщиковъ по разнымъ работамъ,—разъединилъ, и объ засадѣ не могло быть и рѣчи.

Ковчивъ каторгу и выйдя на поселеніе, Ландсбергъ завелъ лавочку, въ которой продается все: дуги и гармоники, ситцы и деготь, кнутовища и конфеты.

Это какое-то умѣнье найтись всегда и во всѣхъ положеніяхъ. Превратившись въ мелкаго лавочника, блестящій гвардейскій офицеръ сразу оказался великолѣпнымъ, мелкимъ лавочникомъ. Онъ повелъ дѣло отлично. Его лавочка росла и росла. Онъ заводилъ связи съ торговыми фирмами.

И когда я поѣхалъ къ Карлу Христофоровичу Ландсбергу,—на мачтѣ, около его хорошенькаго, чистенькаго домика развѣвался флагъ парходнаго общества: онъ представитель крупнаго страхового общества, у него контора транспортнаго общества, онъ агентъ парходной компаніи.

Лавочка у него осталась,—цѣлый магазинъ! но въ ней торгуютъ приказчики, а онъ только наблюдаетъ хозяйскимъ окомъ.

За сигарой онъ бесѣдовалъ со мной о компаніи каменноугольныхъ копей и о компаніи для эксплуатаціи рыбныхъ промысловъ,—двухъ крупныхъ компанійхъ, которыя онъ затѣваетъ.

Ландсбергъ кончилъ поселенчество и крестьянство. Теперь онъ мѣщанинъ города Владивостока, ѣздитъ отъ времени до времени за границу, въ Японію,—могъ бы, если бы захотѣлъ, вернуться въ

Россію, но живетъ на Сахалинѣ, въ комфортабельномъ домикѣ, изъ оконъ котораго открывается видъ на пали кандалъной тюрьмы...

Ландсбергъ женатъ на очень милой женщинѣ, акушеркѣ, пріѣхавшей служить на Сахалинѣ.

И трудно отыскать болѣе нѣжную пару. Богъ вѣсть, нашелъ бы онъ въ Россіи такое же семейное счастье, какое отыскалъ на Сахалинѣ.

Такъ странно смотрѣть на этихъ двухъ людей.

Словно крѣпко охватившіе другъ друга, сплсшіеся послѣ кораблекрушенія.

## II.

Въ каютъ-компаніи парохода „Ярославль“ было шумно и накурено. Пароходъ пришелъ въ ночь, и теперь, раннимъ утромъ, каютъ-компанія была полна служащими, явившимися принимать привезенныхъ арестантовъ. Цѣлая коллекція гоголевскихъ типовъ! Капитанъ по очереди знакомилъ меня со всѣми. И когда очередь дошла до сидѣвшаго за столомъ, что-то очень весело и оживленно рассказывавшаго человѣка, сказалъ:

— Карлъ Христофоровичъ Ландсбергъ.

Въ поданной мнѣ рукѣ я почувствовалъ согнутый мизинецъ. И это прикосновение подѣйствовало на меня, какъ электрическій токъ.

Этотъ мизинецъ былъ одной изъ уликъ противъ Ландсберга. Онъ порѣзалъ его, когда рѣзалъ Власова.

— Я очень радъ съ вами познакомиться. Губернаторъ говорилъ мнѣ, что вы прислали ему телеграмму.

Онъ говорилъ очень пріятнымъ голосомъ, въ которомъ звучала любезность.

Высокій, красивый и представительный господинъ, въ усахъ, съ сѣдиной въ волосахъ, но моложавый. Ландсбергу теперь, вѣроятно, подъ пятьдесятъ, но на видъ гораздо меньше. Онъ сохранилъ молоджавое лицо и почти юношески-стройную фигуру. Онъ—сама предупредительность. Быть-можетъ, онъ даже слишкомъ предупредителенъ,—въ немъ есть что-то заискивающее; онъ никогда не говоритъ иначе какъ съ любезнѣйшей улыбкой.

Но когда, пожимая другъ другу руки, мы встрѣтились глазами, мнѣ показалось, что я словно нечаянно дотронулся до холодной стали.

Смѣется онъ или рассказываетъ что-нибудь для него тяжелое, оживлено у него лицо или нѣтъ,—у него играетъ только одно лицо. Сѣрые, свѣтлые глаза остаются одними и тѣми же, холодными,

спокойными, стальными. И вы никакъ не отдѣляетесь отъ мысли, что у Ландсберга такими же холодными и спокойными глаза оставались всегда.

— Тяжелые глаза!—замѣчали и служащіе всякій разъ, какъ разговоръ заходилъ о Ландсбергѣ.



К. Х. Ландсбергъ и его жена.

— Вы на глаза-то посмотрите!—со злобой говорили не любящіе Ландсберга каторжане и поселенцы. — Смотрить на тебя, и словно ты для него не человѣкъ.

Пароходъ привезъ Ландсбергу для лавочки конфеты и печенье, и Ландсбергъ, обмѣниваясь любезными шуточками съ гг. служащими, очень ловко на пристани укладывалъ этотъ воздушный товаръ, словно подарки везъ на именины. Такое странное впечатлѣніе производилъ этотъ торговецъ съ красивыми, элегантными движеніями.

Попрощавшись со всѣми, онъ сѣлъ въ собственный экипажъ и приказалъ кучеру:

— Пошелъ!

— Куда прикажете, баринъ? — спросилъ кучеръ изъ поселенцевъ.

— Домой!

Ландсбергъ еще разъ съ любезнѣйшей улыбкой раскланялся со всѣми, крикнулъ начальнику округа:

— Такъ я васъ жду сегодня вечеромъ. Новыя ноты съ парохомъ пришли. Жена намъ на піанино сыграть.

И экипажъ поскакалъ.

— А кучеръ-то у него, какъ и онъ, за убійство съ цѣлью грѣбежа присланъ! — сказалъ мнѣ начальникъ округа. — У насъ, батенька, тутъ много удивительныхъ вещей увидите!

Ландсбергъ сохранилъ свой великолѣпный французскій языкъ и давится, какъ всѣ сахалинцы, на словѣ „каторга“.

— Когда я былъ еще... рабочимъ! — говоритъ онъ, слегка краснѣетъ и опускаетъ глаза.

Мы съ нимъ никогда не называли Сахалина по имени, а говорили:

— Этотъ островъ.

Ландсбергъ черезъ 25 лѣтъ тюрьмы и каторги пронесъ невредимыми свои изящныя „гостиныя“ манеры, но есть нѣчто поселенческое въ той торопливости, съ которой онъ сдерживаетъ съ головы шляпу, если неожиданно слышитъ:

— Здравствуйте!

Эта особая манера снимать шапку, приобретаемая только въ каторгѣ.

И по этой манерѣ мы видите, что нелегко досталась Ландсбергу каторга. Бывали-таки, значить, столкновенія.

Этому человѣку, изъ оконъ котораго „открывается видъ“ на пали каторжной тюрьмы, тяжело всякое воспоминаніе о своемъ „рабочемъ“ времени.

Когда онъ касается этого времени, онъ волнуется, тяжело дышитъ и на лицѣ его написана злость.

А когда онъ говоритъ о каторжанахъ, вы чувствуете въ его тонѣ такое презрѣніе, такую ненависть. Онъ говоритъ о нихъ, словно о скотѣ.

Съ этими негодьями не такъ слѣдуетъ обращаться. Ихъ распустили теперь. Гуманичаютъ.

И каторга, въ свою очередь, презираетъ и ненавидитъ Ландсберга и выдумываетъ на его счетъ всякія страшныя и гнусныя легенды.

Служащіе водятъ съ нимъ знакомство, онъ одинъ изъ интереснѣйшихъ, богатѣйшихъ, а благодаря добрымъ знакомствамъ, вліятельнѣйшихъ людей на Сахалинѣ;—но въ разговорахъ о Ландсбергѣ они возмущаются:

— Пусть такъ! Пусть Ландсбергъ, дѣйствительно, единственный человѣкъ, котораго Сахалинъ возродилъ къ честной трудовой жизни. Но вѣдь нельзя же все-таки такъ! Такое ужъ спокойствіе. Чувствуетъ себя великолѣпно, — словно не онъ, а другой кто-то сдѣлалъ!

Такъ ли это? Одинъ разъ мнѣ показалось, что зазвучало „нѣчто“ въ словахъ этого „человѣка не помнящаго прошлаго“.

Всѣ стѣны уютной и комфортабельной гостиной Ландсберга увѣшаны портретами его дѣтей, умершихъ отъ дифтерита. Объ нихъ и шла рѣчь.

— И вѣдь никогда здѣсь, на этомъ островѣ, дифтерита не было... Вольнослѣдующіе занесли. Дѣти заболѣли и всѣ умерли. Всѣ. Словно наказаніе.

И, сказавъ это слово, Ландсбергъ остановился, лицо его стало багрянымъ, онъ наклонилъ голову, и нѣсколько минутъ длилось молчаніе.

Это были самыя тяжелыя минуты, которыя мнѣ приходилось провести въ жизни.

— Что же это я забылъ? Идемъ чай пить! — овладѣвъ собой и „весело“ сказалъ Ландсбергъ, и мы пошли въ столовую, гдѣ лакей изъ поселенцевъ, во фракѣ и перчаткахъ, подавалъ намъ чай.

Это былъ одинъ единственный разъ, когда „нѣчто“ словно поднялось со дна души. А часто Ландсбергъ ставитъ собесѣдника прямо въ неловкое положеніе. Это, — когда онъ говоритъ о „распущенности... рабочихъ“:

— Здѣсь, на этомъ островѣ, Богъ знаетъ, что дѣлается. Убійства съ цѣлю грабежа каждый день. Убійства съ цѣлю грабежа! И съ такими господами еще церемонячатъ.

Иногда Ландсбергъ приводитъ, дѣйствительно, въ недоумѣніе.

— Не собираетесь въ Россію?—спросилъ я Ландсберга.

— Хочется съѣздить, матушка-старушка у меня есть. Хочетъ меня передъ смертью еще разъ повидать. А совсѣмъ переѣзжать, — нѣтъ. Тутъ займусь еще. Долженъ же я съ этого острова что-нибудь взять. Не даромъ же я здѣсь столько лѣтъ пробылъ.

Дѣйствительно, словно человѣкъ по дѣламъ сюда пріѣхалъ. А „сдѣлалъ“ не онъ, а кто-то другой.

— Вотъ на что слѣдуетъ обратить вниманіе!—говорилъ мнѣ въ другой разъ Ландсбергъ,—и такимъ взволнованнымъ я его никогда



не видалъ.—Вотъ на что. На пожизненность наказанія. Наказывайте человека, какъ хотите, но когда-нибудь конецъ этому долженъ же быть. Оттерпѣлъ человекъ все, что ему приходится, и покончите съ этимъ, веряйте все, что онъ имѣлъ. Не лишайте человека на всю жизнь всѣхъ правъ. Неужели взрослый, пожилой мужчина долженъ терпѣть за то, что сдѣлалъ когда-то мальчишка?

И въ его тонѣ слышалось такое презрѣніе къ „сдѣлавшему“ когда-то „мальчишкѣ“.

Я смотрѣлъ на страшно взволнованнаго Ландсберга и думалъ.

— Вотъ, значить, кто этотъ „другой“, который „сдѣлалъ“

Таковъ этотъ „знаменитый“ человекъ.

Не случись 25 лѣтъ тому назадъ трагическаго *qui pro quo*, — кто знаетъ, чѣмъ былъ бы теперь Карлъ Христофоровичъ Ландсбергъ.

Если человекъ даже на Сахалинѣ, — и то сумѣлъ выйти изъ „люди“.

### Дѣдушка русской каторги.

Милый, добрый, славный дѣдушка, спишь ты теперь въ „Рячковой заимкѣ“, на каторжномъ кладбищѣ поста Александровскаго, по безыменнымъ крестомъ, спишь тихимъ, вѣчнымъ сномъ. Что грезится тебѣ тамъ послѣ твоей многострадальной жизни?

Матвѣй Васильевичъ Соколовъ—„дѣдушка русской каторги“.

Старше его въ каторгѣ не было никого. Онъ отбылъ:

— Пятьдесятъ лѣтъ чистой каторги.

Да предстояло еще:

— Мнѣ, братъ, три вѣка жить надобно, — улыбаясь беззубымъ ртомъ, говорилъ Матвѣй Васильевичъ, — у меня, братъ, три вѣчныхъ приговора.

Человекъ, трижды приговоренный къ безсрочной каторгѣ, съ безсрочной „испытуемостью“.

Другого такого не было во всей каторгѣ.

По закону, такого страшнаго преступника должны въ теченіе всей жизни держать въ кандалной тюрьмѣ, и если онъ куда идетъ, отправлять не иначе, какъ въ сопровожденіи часового съ ружьемъ.

А Матвѣю Васильевичу Соколову разрѣшили жить себѣ въ столярной мастерской безо всякаго надзора.

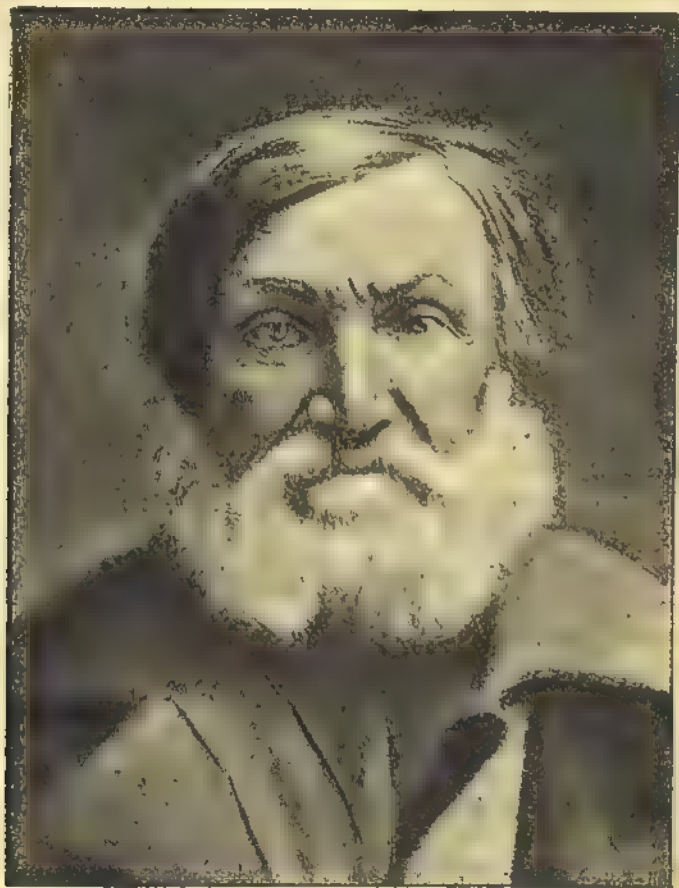
Онъ спалъ на верстахъ, зиму и лѣто кутаясь въ старый полушубокъ, дрожа своимъ старческимъ тѣломъ.

— Только водкой и дышу! Проснешься поутру, — ни рукъ ни ногъ нѣтъ, грудь заложить, дышать нечѣмъ. Выпьешь чайную ча-

шечку водки,—и опять человекъ! Я, ваше высокоблагородіе, пьяница природный!

— Матвѣй Васильевичъ потому и работать не могутъ, что они лакъ лѣютъ! — подшучивали другіе каторжане, работавшіе въ столярной.

— Какъ такъ,—лакъ?



Дѣдушка русской каторги Матвѣй Васильевичъ Соколовъ.

— А это я, когда водчонки нѣтъ, — улыбался дѣдушка, — лакъ отстоитъ, снизу-то муть, а сверху чистый спиртъ. Я его водичей разбавлю и пью. Чисто водка. Такъ по жилкамъ и побѣжить, и побѣжить огонечкомъ этакимъ. Въ рукахъ, ногахъ тепло сдѣлается. Въ себя прихожу.

Въ богадѣльню Матвѣй Васильевичъ ни за что не хотѣлъ.

— Какой я богатырь! Я человекъ мастеровой, я въ мастерской буду работать!

Работать онъ, по старости лѣтъ, не могъ. Такъ только „ковырялся“.

Но столяръ онъ былъ тонкій, превосходный. За это его во всѣхъ тюрьмахъ всѣ смотрители любили. Но за это же ему и больнѣе доставалось, когда онъ сбѣгалъ. Этакій столяръ сбѣжалъ, — поневолѣ злость возьметъ.

Въ то время, какъ я его зналъ, онъ жилъ въ мастерской ужъ на покой, его всѣ величали не иначе, какъ „дѣдушкой“, или по имени и отчеству, къ нему всѣ относились съ какимъ-то невольнымъ почтеніемъ: ужъ очень много выстрадалъ этотъ человекъ.

Всему, что онъ зналъ, — мастерству, грамотѣ, — онъ выучился въ каторгѣ. Онъ ничего въ жизни не видѣлъ, кромѣ каторги. И самое время для него дѣлилось на два періода: „до эшафотовъ“ и „послѣ эшафотовъ“.

Иначе онъ не умѣлъ опредѣлять время.

— Это еще до эшафотовъ было! Когда еще эшафотовъ не вводили! Эшафоты ужъ потомъ пошли! — опредѣлялъ онъ времена давно прошедшія.

— Это ужъ послѣ эшафотовъ было! Когда эшафоты пошли! — опредѣлялъ онъ времена болѣе близкія.

Въ каторгу онъ попалъ при крѣпостномъ правѣ.

— До эшафотовъ?

— Куда! Когда еще кнутомъ наказывали.

Это тоже для него „ара“.

— Клейма ужъ потомъ ввели!

Это тоже опредѣленіе времени.

Онъ былъ крѣпостнымъ, изъ богатой торговой семьи, жившей въ Ельцѣ на оброкѣ. Въ каторгу онъ былъ осужденъ за убійство дѣвушки.

— Акимѣй дѣвушку-то звали. Красивая была Акимья. Да и я парень былъ хоть куда.

И Матвѣй Васильевичъ улыбался, вспоминая, какой онъ былъ смолоду.

— Видный былъ парень, пьяница я былъ, дуракъ былъ, озорникъ. У-ухъ! Мы и спутались. „Акимья, — говорю, — хошь за меня замужъ?“ — „Хочу!“ — говорить. Потому ей лестно: и нравился и изъ семьи богатой. Ну, и спутались. По нашимъ мѣстамъ это бывало: женихъ съ невѣстой путаются.

— Да ты-то, дѣдушка, ее любилъ?

— Говорю, страсть какъ любилъ! Такъ любилъ,—извѣстно, дуракъ былъ. Попутались,—надо вѣнчаться. Тутъ батюшка съ матушкой на дыбы. Потому у меня старшой братъ женатый былъ тоже, какъ я. Онъ съ женой со своей сначала путался, а потомъ женился. Батюшка съ матушкой: „Ни за что! Что жъ это? Второй сынъ на покрыткѣ женится! Срамъ! Всѣ сыновья на полюбовницахъ женятся! Ни за что!“ Семья была богатая, гордая. Ни за что да ни за что. Я и такъ и сякъ: „Не смѣть!“ Тутъ она видитъ, что свадьбѣ не быть,—меня отъ себя гнать зачала: „Больно, молю, ты мнѣ нуженъ!“ И зачала съ другими гулять. Мнѣ, стало-быть, назло. Пушай, молю, всѣ видятъ! Потому папи-то семейные ее ославили: „Съ Матвѣемъ, молю, путалась! А теперь, шкура, къ намъ въ родню лѣзеть!“ Такъ, на-те, молю, вамъ, какъ мнѣ вашъ Матвѣй нуженъ! А я-то на стѣну, я-то на стѣну. Пью,—съ того и пить началъ. Объ масленой дѣло-то было. По нашимъ мѣстамъ парни съ дѣвками съ горъ катаются. Прихожу на гору, смотрю: она съ другимъ съ горы — порзѣ да порзѣ! Хмельной я былъ. Думаю: убью его, и ничего мнѣ за это не будетъ! Вѣдь этакій дуракъ былъ! Этакое вдругъ вадумалъ: человѣка убью и ничего мнѣ за это не будетъ!

И Матвѣй Васильевичъ качалъ головой и посмѣивался надъ молодымъ человѣкомъ, удумавшимъ такую глупость.

— Пошелъ домой, взялъ ружье со стѣнки, прихожу, приложился вотъ этакъ, — Матвѣй Васильевичъ показывалъ, какъ онъ приложился, — „пу-у“, Афимья-то не своимъ голосомъ закричала да и упала. Упала да и умерла. Думалъ-то въ него, а попалъ въ нее. Не разобралъ съ пьяныхъ-то глазъ. Тутъ мнѣ лопатки и скрутили. Тутъ-то отъ меня всѣ и отступились. И батюшка съ матушкой,—царство имъ небесное,—и братья, и всѣ родные. Семья-то была богатая, гордая семья, и этакій вдругъ срамъ на всѣхъ нагналъ. А?? Острожники! Оно бы, можетъ, дагъ такъ полегче бы было, да они и руками и ногами: „Знать,—говорятъ,—острожника не хотимъ. Осрамили онъ насъ на всю жизнь“. Меня и присудили: кнутомъ 10 ударовъ и въ каторгу. Въ Москвѣ ужъ наказывали. Тутъ я только Москву и видѣлъ, какъ на Конную везли. Хорошій, должно-быть, городъ, только мнѣ въ тѣ поры не до того было. Посадили меня на телѣгу, спиной къ лошади, и повезли. А кругомъ-то народу! А кругомъ-то народу! Мальчишки за телѣгой бѣгутъ, глядятъ, пальцами показываютъ. Не знаешь, куда и глядѣть. Купцы изъ лавокъ выходятъ, смотрятъ. Деньги которые въ телѣгу кидаютъ. Палачъ со мной ѣхалъ въ телѣгѣ, собираетъ. „Тебѣ, — говорить,—это!“ Я кланяюсь. Такъ и привезли на Конную. День базарный, народищу—

труба. Тогда еще эшафотовъ не было. Это ужъ потомъ эшафоты пошли, „срамить“ зачали. А тогда еще не „срамили“,—просто положить и отдеруть. Положили меня, да какъ кнутомъ палачъ по толлой спишь стегнеть! Много меня пороли: драли и плетми, и палками, и розгами, и комлями, — а больнѣе кнута ничего не было!

И этотъ человѣкъ, принявшій на своемъ вѣку тысячи плетей и палокъ и розогъ безъ числа и счета,—черезъ 50 лѣтъ содрогался, вспоминая 10 ударовъ кнута. Что жъ это было за наказанье!

— Думалъ, не жить! Чисто годъ пороли. А народъ-то все — деньги сыплеть, сыплеть. Сняли меня съ кобылы, въ госпиталь положили, а потомъ вылежался,—въ каторгу поэтапнымъ порядкомъ послали. Муторно мнѣ въ тѣ поры пришлось. Водки бы. Да гдѣ жъ ее достанешь? Мастерства не зналъ, заработать негдѣ. Товарищъ мнѣ и говоритъ: „Хочешь, деньги будутъ? Какія хочешь, большія. Сами дѣлать будемъ!“ А мнѣ только водки. Угощаетъ онъ меня, мы деньги и дѣлаемъ. Поймали насъ, —да къ палкамъ. Его-то, какъ зачинщика, безъ помощи врача, а меня съ помощью.

— Какъ такъ —безъ помощи врача?

— А такъ въ тѣ поры было. Ставятъ въ два ряда солдатъ съ палками, привяжутъ къ такой телѣжечкѣ и везутъ. А они-то палками по спинѣ рразъ, рразъ! И возятъ, покуда все, къ чему сужденъ, не получишь. Онъ ужъ мертвый лежитъ, а его все рразъ, рразъ! Потому безъ помощи врача. А ежели съ помощью, —такъ докторъ рядомъ идетъ. Видитъ, что человѣкъ въ безпамятство приходитъ —сталь,—скажетъ: „стойте!“ спирту дастъ понюхать,—и потомъ опять начнутъ. За руку возьметъ, на часы посмотреть: „Можно, — скажетъ.—еще сотню!“ А какъ увидитъ, что человѣкъ совсѣмъ плохъ, сейчасъ все приостанавливаетъ, и человѣка въ госпиталь. Отлежится тамъ человѣкъ, выздоровѣетъ, его опять на наказанье поведутъ. Такъ до тѣхъ поръ, пока всего своего не получить. Товарищъ, царство ему небесное, тотъ сразу, безъ помощи врача кончился. А меня, почитай, цѣлый годъ драли, пока всего не выдали. Такъ годъ въ госпиталь все и вылеживался. Вылежусь, опять дадутъ.

Затѣмъ палокъ, плетей и розогъ Матвій Васильевичъ получилъ неисчислимое количество:

— На траву я все ходилъ!—улыбаясь, говорилъ онъ

— Какъ „на траву“?

— А такъ, зиму ничего, маячу въ тюрьмѣ. А придетъ весна, на траву и потянетъ. И бѣгу. Такъ кое-гдѣ лѣто шляюсь, въ работникахъ служу. А осень придетъ, —опять по тюрьмѣ скучно станетъ.



Къ товарищамъ иду. Сейчасъ мнѣ и плѣти, либо палки, съ прибавленіемъ сроку:

Такъ этими отлучками „на траву“ Матвѣй Васильевичъ и набилъ себѣ три безсрочныхъ каторги.

— А по манифестамъ тебѣ сбавки не было?

— Какіе же мнѣ манифесты? У меня три безсрочныхъ.

Все, что происходило въ мірѣ, неслоь мимо этого человѣка, знавшаго только тюрьму, плети, розги. Такъ онъ и жилъ, весной тоскуя по волѣ, осенью возвращаясь въ тюрьму:

— Все-таки кормятъ!

Кромѣ безчисленныхъ „побѣговъ“, за Матвѣемъ Васильевичемъ никакихъ другихъ преступленій не было. Человѣкъ онъ былъ честнѣйшій: сами же служащіе давали ему деньги, — и иногда помногу денегъ, — на покупку матеріаловъ, и вѣкогда онъ не пользовался ни копейкой.

— А бѣгать — бѣгалъ. И окромя весны. И все черезъ водку! Тверды! — ничего, а напьюсь — сейчасъ у меня первое: бѣжать. Сбѣгу, напьюсь, — попадусь! Пяница я, ваше высокоблагородіе!

Черезъ водку мы съ Матвѣемъ Васильевичемъ и поссорились.

Друзья мы съ нимъ были большіе. Сколько разъ, изнуренный сахалинской „оголѣвостью“, сахалинской „отчаянностью“, спрашивая себя: „да есть ли мѣра человѣческому страданію и человѣческому паденію?“ — боясь сойти съ ума отъ ужасовъ, которые творились вокругъ, — я приходилъ къ этому старику и „отходилъ душой“ подъ его неторопливую старческую рѣчь. Онъ все пережилъ, все перестрадалъ, — и, старый старикъ, смотрѣлъ на все, вспоминалъ обо всемъ съ добродушной улыбкой. Сколько разъ, глядя на эту милую, кроткую улыбку человѣка, душа и тѣло котораго половину столѣтія такъ мучились, я спрашиваю себя:

— Есть ли мѣра благодати и кротости и добротѣ души человѣческой?

Эта дружба поддерживалась маленькими услугами: каждое утро Матвѣй Васильевичъ ходилъ ко мнѣ на кухню, и кухарка должна была поднести ему чайную чашку, — непременно чашку, это была его мѣра, — водки.

Спрашиваю какъ-то:

— Былъ дѣдушка?

— Никакъ нѣтъ-съ, — отвѣчаетъ кухарка. — Онъ ужъ нѣсколько дней какъ не ходитъ!

Пошелъ справиться: ужъ не заболѣлъ ли. Матвѣй Васильевичъ нехотя и сухо со мной поздоровался.

— Да что съ тобой, Матвѣй Васильевичъ? За что ты на меня сердишься?

— Что ужъ... Ничего ужъ...

— Да скажи, въ чемъ дѣло?

— Что ужъ тамъ! Ежели ты для меня, для старика, чайной чашечки водки пожалѣлъ, что же ужъ...

Оказывается, кухарка, глупая и злая баба, почему-то вдругъ, вмѣсто обычной „чашки водки“, поднесла Матвѣю Васильевичу рюмку:

— Всѣ пьютъ изъ рюмки, а ты что за принцъ такой! Много васъ тутъ найдется чашками водку хлебать!

Матвѣй Васильевичъ отказался и ушелъ:

— Я всю жизнь чашечкой пилъ!

И рѣшилъ, что это мнѣ для него водки стало жалъ.

— Матвѣй Васильевичъ, Богомъ тебѣ клянусь, что я не зналъ даже объ этомъ! Да приходи ты, четверть тебѣ поставлю, стаканами хотъ пей,—на адоренье!

— Нѣтъ, что ужъ... Пожалѣлъ... Чашечку водки пожалѣлъ... А я изъ-за нея, изъ водки, всю жизнь въ каторгѣ маюсь... А ты мнѣ чашечку пожалѣлъ...

И на глазахъ у старика были слезы. Онъ и смотрѣть на меня не хотѣлъ.

Почувствовавъ приближеніе смерти, Матвѣй Васильевичъ явился въ Александрійскій лазаретъ и спросилъ главнаго врача, Л. В. Поддубскаго.

— Умирать къ тебѣ пришелъ. Ты мнѣ того... и глаза самъ закрой, Леонидъ Васильевичъ!

— И полно тебѣ, старина! Ты еще на траву въ этомъ году пойдешь!

— Нѣтъ, братъ, на траву я больше не пойду.

— Да что жъ у тебя болитъ, что? А?

— Нѣтъ, болѣть ничего не болитъ. А только чувствую, смерть подходить. Ты ужъ меня того, положи къ себѣ... И глаза самъ закрой, Леонидъ Васильевичъ!

Желаніе старика исполнилось.

Окруженный попеченіями, пролежавъ въ лазаретѣ два дня, онъ тихо и безболѣзненно скончался, словно заснулъ, отъ старческой дряхлости. И при послѣднихъ минутахъ его былъ, „глаза ему закрылъ“ Л. В. Поддубскій.

Такъ умеръ „дѣдушка русской каторги“.

Однажды докторъ Н. С. Лобасъ далъ Матвѣю Васильевичу бумаги, чернилъ, перьевъ:

— Дѣдушка, ты столько помнишь. Что бы тебѣ въ свободное время сѣсть да и записать, что припомнишь. Свое жизнеописаніе.

— А что жъ! Съ удовольствіемъ!—согласился Матвій Васильевичъ и на слѣдующій день принесъ назадъ бумагу, перья, чернила и четвертушку бумаги, съ одной стороны которой было написано.

— Вотъ. Написалъ.

— Что?

— Жизнеописаніе.

И онъ подалъ четвертушку:



Похороны на Сахалинѣ.

„Жизнеописаніе сс.-каторжнаго Матвія Васильева Соколова. Приговоренъ къ тремъ безсрочнымъ каторгамъ. Чистой каторги отбылъ 50 лѣтъ. Получилъ:

„Кнута—10 ударовъ.

„Плегей—столько-то тысячъ.

„Палокъ—столько-то тысячъ.

„Розогъ—не припомню сколько.

„Сс.-каторжный Матвій Соколовъ“

— Все жизнеописаніе?

— Все.

## Святотатацъ.

Усталый, разбитый, измученный, пробирался я чрезъ тайгу съ моимъ проводникомъ, ос.-каторжникомъ Бушаровымъ.

Бушаровъ стоитъ того, чтобъ сказать о немъ нѣсколько словъ. Въ спорѣ его называютъ:

— Кайицъ!

Онъ убилъ родного брата съ цѣлью грабежа. Убилъ при такихъ же точно условіяхъ, какъ ѣхали мы теперь съ нимъ: въ глухомъ лѣсу. Убилъ потому, что у брата, какъ у меня, были деньги. Я взялъ Бушарова въ проводники потому, что онъ, прежде чѣмъ остепениться, много разъ бѣгалъ и зналъ Сахалинскую тайгу, какъ свои пять пальцевъ. За мной этотъ братоубійца, грабитель и бродяга. „смотрѣлъ“ такъ, словно я былъ стеклянный. Словно боялся, что я вотъ-вотъ разобьюсь вдребезги.

А приходилось трудно. По тундрѣ, поросшей тайгою, только и пробраться, что выросшей въ тайгѣ сахалинской лошади. Приходилось прыгать черезъ ямы, черезъ стволы огромныхъ упавшихъ деревьевъ. Лошади остороженненько сначала пробивали копытомъ мѣсто, прежде чѣмъ на него ступить, пробирались по корнямъ деревьевъ, высунувшимся наружу, срывались, падали, увязали въ тощъ по брюхо. Паръ отъ лошадей валилъ. Ежеминутно приходилось бѣдныхъ, измученныхъ лошадей лупить нагайками, чтобы заставить выбраться изъ трясины. Только что вытащить заднія ноги, глядь — сорвалась съ корешка, провалилась въ трясину передними. То летишь черезъ голову, то черезъ крупъ, то валишься вмѣстѣ съ лошадыю.

— Поддержитесь, ваше высокоблагородіе, поддержитесь! — подбадривалъ меня ѣхавшій впереди Бушаровъ. — Скоро тутъ сторожка.

Прорубили сквозь тайгу просѣку, поморили на этой ночеловѣческой работѣ много народу, — а по просѣкѣ ни пройти ни проѣхать: на чемъ поѣдешь по тундрѣ? Понаставили сторожекъ „охранять просѣку“, и хоть просѣка брошена, но все же въ каждую сторожку, по старой памяти, назначаютъ по два сторожа каторжанъ.

Было ужъ подъ вечеръ, когда мы добрались до просѣки и до сторожки. Въ сторожкѣ былъ только одинъ сторожъ — старикъ. Другой ушелъ на нѣсколько дней въ „пость“ за провиантомъ.

Я не помню, какъ добрался до лавки, легъ и заснулъ, какъ убитый. Проснулся я раннимъ утромъ. Старикъ стоялъ на колѣняхъ

и шопотомъ молился на маленькій, темный образокъ, висѣвшій въ углу.

Перевирая и коверкая, онъ прочелъ „Богородицу“, „Отче нашъ“, „Царю небесный“, изъятаго въ десятое „Вѣрую“ и началъ молиться отъ себя.

— Покровъ Пресвятой Богородицы, помилуй насъ! Успенье Божіей Матери, помяни и заступи грѣхи наши! Казанская Матерь Божія, помилуй насъ! Помяни, Господи, рабовъ Божіихъ (такихъ-то) за упокой! Помяни, Господи, рабовъ Божіихъ (такихъ-то), невѣмъ еще за упокой, еще во здравіе! Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствіе Твое.

Положилъ долгій - долгій земной поклонъ. Затѣмъ поднялся, сказалъ:

— Аминь.

Перекрестился еще нѣсколько разъ и пошелъ.

— Здравствуй, дѣдъ!

— Здравствуй, ваше высокоблагородіе.

Бушаровъ ужъ ждалъ меня съ горячимъ мѣднымъ чайникомъ, который онъ всегда въ экскурсіяхъ возилъ съ собой, вмѣстѣ съ провизіей и съ завтракомъ: раскрытой баночкой... страсбургскаго паштета и коробкой сардинъ. Въ лавкахъ колонизаціоннаго фонда, созданнаго для удовлетворенія потребностей каторжанъ, поселенцевъ и мелкихъ чиновниковъ, ничего, кромѣ страсбургскаго паштета и сардинокъ, достать нельзя. Такъ это все разумно устроено.

И мы усѣлись около сторожки, ѣсть въ тайгѣ паштетъ изъ гусиныхъ печенокъ съ трюфелями и сардины въ деликатесномъ маслѣ!

— Дѣдъ, выпей съ нами чайку!

Старикъ постоялъ, постоялъ:

— Спасибо за ласку. Побалуюсь!

И какъ я ихъ ни уговаривалъ сѣсть вмѣстѣ со мной, не соглашались. Я сидѣлъ на крылечкѣ, старикъ и Бушаровъ — поодаль. Иначе:

— Не порядокъ!

А порядокъ старикъ, видимо, любилъ. Выпивъ чашку, онъ выплескивалъ остатки въ траву, переворачивалъ чашку кверху доннышкомъ, клалъ на доннышко огрызокъ сахара и говорилъ:

— Благодарствую на угощеніи!

— Да ты бы, дѣдъ, еще выпилъ!

— Нѣтъ уже, благодарствую.

И только по третьему разу говорилъ:



— Ну, ужъ ежели такая ваша милость, налейте! Грѣхъ, а по-балуюсь.

Сардины у дѣда вызвали улыбку:

— Безголовая рыбешка-то!

А паштета онъ попросилъ еще:

— Да-ко-съ замазки-то!

Чай онъ пилъ съ жадностью:

— Давно не баловался. Почитай, полгода, какъ чайку не пилъ!

Старикъ былъ хмурый, неразговорчивый, но угощеніе и чай развязали ему языкъ.

— Ты, что же, дѣдъ, въ постъ-то когда ходишь?

— Нѣтъ. За пайкомъ Михайло ходить. Онъ помоложе. А мнѣ чего ходить? Чего тамъ дѣлать? Года два, какъ не былъ.

— Такъ и живешь здѣсь, людей не видя?

— Какіе жъ здѣсь люди? Такъ когда—ведмѣдь къ сторожкѣ забредеть, отпугнемъ. Аль бо которые плющѣ...

— Бродяги, то-есть!—пояснилъ Бушаровъ.

— Они самыя. Придетъ, отогрѣется, хлѣбупка попросить, — дашь, переночуетъ, — дальше пойдетъ. А люди какіе же!

— И не боязно, дѣдъ?

— Чего же бояться-то? Бога бояться надо, а людей нечего. Ни я людямъ ничего не сдѣлалъ ни люди мнѣ. Чего жъ мнѣ ихъ бояться?

Старикъ сталъ разговорчивъ и довѣрчивъ, теперь можно было ему предложить и самый щекотливый вопросъ:

— А за что ты, дѣдъ, сюда попалъ? На Сахалинъ?

Старикъ въ это время допилъ послѣднюю чашку чаю, подтѣвъ съ ладони всѣ хлѣбныя крошки и перекрестился три раза.

— За ограбленіе святыхъ Божіихъ церквей.

Признаюсь, я ожидалъ всего, кромѣ этого.

— Какъ такъ?

— А такъ.

— Какъ же это ты такъ? Спьяна, что ли?

— Зачѣмъ спьяна. Тверезый. Я съ молодыхъ годовъ ничѣмъ, больше и не занимался! Все по церквамъ. Церквей 30 обобрали, можетъ, и больше. А тутъ на 31 Богу не угодилъ, и попался.

— Какъ же это такъ... Вѣдь преступленіе-то какое...

— Какое жъ преступленіе?

Старикъ посмотрѣлъ на меня строго и серьезно.

— Я никого не обижалъ. Я у людей ничего не бралъ. Я бралъ у Бога. Да у Бога-то бралъ то, что Ему не нужно. Богъ мнѣ и отдавалъ, а какъ взялъ, видать, то, что Богу нужно, — Онъ меня и постигъ.

— Какъ же такъ, все-таки? Какъ, что Богу не нужно?

— Да вѣдь въ церквахъ-то все какое? Жертвованное? А что жъ ты думаешь, Богу-то всякая жертва угодна? Всякая?

Старикъ горячился.

— Другой мужикъ всю округу обдеретъ, нищими людей пустить, рубахи поснимаетъ, да въ церковь что пожертвуетъ, думаетъ, и святы! Угодна такая жертва Господу? Нѣтъ, братъ, ты отъ трудовъ праведныхъ да съ чистымъ сердцемъ Господу Богу принеси,—вотъ это Ему жертва!

— Да ты-то почему знаешь, что Господу угодно, что нѣтъ?

— Этого намъ знать не показано. А только по слѣдствіямъ видать. Взялъ, ничего тебѣ за это не было, значить, Богъ тебѣ, что Ему не надоть отдавъ. Всю жизнь ничего не было. Какія дѣла съ рукъ сходили, а тутъ и взялъ-то всего ничего, и споймали. Тропулъ, значить, что Богу Самому нужно, и постигнуть. Значить, Богу кто отъ чистаго сердца да отъ праведнаго труда принесть,—„жертва совершенная“ была. А я у Бога ее взялъ. За это теперь и казнись. Справедливость и премудрость Божія.

Мы помолчали.

— Какъ же ты это дѣлалъ? Церкви ломалъ?

— Случалось, и ломалъ! — неохотно проговорилъ старикъ. — Всяко бывало. Только я этого не люблю. Зачѣмъ храмъ Божій ломать? Намъ этого не полагается. Страшно, да и застичь скорѣй могутъ. А такъ, съ молитвой да тихохонько, оно и лучше. Останешься апосля авсенощной, спрячешься гдѣ-нибудь и замрешь. А какъ церкву запрутъ, и выйдешь. Предъ престольными образами помолишься, чтобъ Господь Богъ просвѣтилъ, не взялъ бы чего, что Ему угодно. Къ образамъ приложишься и берешь, что по душѣ. А утромъ, къ утрунѣ церкви отворять, темно, всѣ сонные, — незамѣтно и уйдешь.

— И такъ всю жизнь?

— И такъ цѣльную жизнь.

— Ну, а этотъ образокъ, что въ уголкѣ виситъ, это тоже, можетъ-быть?

— Покровъ Пресвятой Богородицы-то? Говорю жъ тебѣ, два года тому въ посту былъ. Тамъ, на кладбищѣ, и взялъ. Со креста снялъ.

— Какъ же это такъ? И могилу, послѣднее упокоенье...

— А что жъ тамъ образу быть? На что ему подъ дождемъ-то мокнуть? Еще татарва возьметъ горшки у печки покрывать. „Дощечка!“ имъ все дощечка! Народецъ! А тутъ образъ въ своемъ мѣстѣ. Какъ порядокъ велитъ. Соблюдается.

— Ну, а здѣсь ты, что жъ, оставилъ старое? Здѣшнихъ церквей ужъ не трогаешь?

— А что въ здѣшнихъ церквахъ взять-то? Народъ-то здѣсь какой? Не знаетъ? Нешто здѣшний народъ о Богѣ думаетъ? Въ церкву онъ что понесетъ! Да онъ на водку лучше пропьетъ! Бога здѣшний народъ забылъ, и ихъ Господь Богъ позабылъ! У нихъ Богъ-то нищимъ останется, и они за это за самое голые ходятъ! Народъ! Глаза бы мои ихъ не видѣли! Оттого и въ постъ-то не хожу, черезъ народъ, черезъ этотъ. Чтобъ не видать ихъ. Грѣхъ одинъ.

И старый святотатецъ даже отплевывался, говоря о забывшемъ Бога народѣ.

— Чудной старикъ! — сказалъ Бушаровъ, когда мы ѣхали изъ сторожки. — Но только богобоязненный, страсть! Его всѣ такъ и знаютъ.

### **Аристократъ каторги.**

— Извините, — сказалъ мнѣ однажды Пазульскій, — сегодня я не могу пойти къ вамъ въ контору поговорить. Нога болитъ. Вы не хотите ли, можетъ-быть, здѣсь поговоримъ?

— Здѣсь? Неудобно. При постороннихъ. Народу много!

— Эти? — Пазульскій кивнулъ головой на каторжанъ. — Не извольте беспокоиться. Ребята, выйдете-ка во дворъ, мнѣ съ бариномъ поговорить надо.

И всѣ 19 человѣкъ, содержавшихся въ одномъ „номерѣ“ съ Пазульскимъ, — кто сидѣлъ въ это время, кто лежалъ, кто игралъ нѣ карты, — встали и, позвякивая кандалами, одинъ за другимъ, гуськомъ, покорно вышли.

А среди нихъ былъ Полуляховъ, сахалинская знаменитость Митрофановъ, только что пойманный послѣ необычайно дерзкаго побѣга, Мыльниковъ-Прохоровъ, перерѣзавшій на своемъ вѣку человѣкъ двадцать, двое изъ Владивостока, приговоренные къ смертной казни и всего двѣ недѣли тому назадъ помилованные на эшафотѣ, Шаровъ, отчаяннѣйшая башка въ цѣломъ мірѣ, совершившій прямо невѣроятный побѣгъ: среди бѣлаго дня онъ спрыгнулъ съ палей прямо на часового, вырвалъ у него ружье и бросился въ тайгу, Школкинъ, ждавшій себѣ смертной казни за убійство, Балдановъ, зарѣзавшій поселенца за 60 копеекъ, и другіе.

И всѣ эти люди часа три проходили по двору, пока Пазульскому угодно было бесѣдовать со мною о разныхъ предметахъ.

Я собирался ѣхать въ Рыковское. Узнавъ объ этомъ, Пазульскій предложилъ мнѣ:

— Хотите, я вам дамъ рекомендательныя письма? Тамъ, въ тюрьмѣ, есть люди, которые меня знаютъ.

Онъ далъ мнѣ нѣсколько записокъ, въ которыхъ просилъ при-  
нять меня хорошо, сообщалъ, что я человѣкъ „безопасный“ и съ  
начальствомъ ничего общаго не имѣю.

Рекомендація Пазульского сослужила больше службы, чѣмъ всѣ  
распоряженія показать мнѣ все, что я пожелаю видѣть. Рекомен-  
даціи Пазульского было довольно, чтобъ я приобрѣлъ полное довѣ-  
ріе тюрьмы.

Случай помогъ мнѣ при первомъ же знакомствѣ приобрѣсти рас-  
положеніе и даже заслужить признательность Пазульского.

Онъ спросилъ меня:

— Говорите ли вы по-англійски?

Я отвѣчалъ, что да. И Пазульскій вдругъ заговорилъ на какомъ-то  
необычайно дикомъ, неслыханномъ языкѣ.

Про него можно было сказать, что онъ по-англійски „говорить“,  
какъ пишетъ.

Онъ выучился самоучкой и произносилъ каждую букву такъ,  
какъ она произносится по-французски.

Выходило чортъ знаетъ что!

Минута была критическая.

Безграмотная каторга чрезвычайно цѣнить всякое знаніе.

Вся тюрьма возрилась: ну-ка, дѣйствительно ли Пазульскій и  
по-англійски говорить? Не вреть ли?

На картѣ стояло самолюбіе и авторитетъ Пазульского.

Авторитетъ, купленный страшной, дорогою цѣною.

Стоило мнѣ улыбнуться, и все пошло бы на смарку. „Вреть,  
хвастается!“ Боящаяся и ненавидящая Пазульского за эту боязнь  
каторга расхохоталась бы надъ Пазульскимъ. А это былъ бы  
конецъ.

Я призвалъ на помощь всю свою сообразительность. Рисовалъ  
въ воображеніи буквы, которыя произносилъ Пазульскій, складывалъ  
изъ нихъ слова, угадывалъ, что онъ хочетъ сказать, и отвѣчалъ  
ему на томъ же варварскомъ языкѣ, произнося всѣ буквы.

Такъ мы обмѣнялись нѣсколькими фразами.

Надо было видѣть, съ какимъ глубокимъ почтеніемъ слушал  
каторга этотъ разговоръ на неизвѣстномъ языкѣ.

Затѣмъ, встрѣтись одинъ на одинъ, Пазульскій спросилъ меня:

— Такъ я говорю по-англійски?

— Откровенно говоря, Пазульскій, вы совсѣмъ не умѣете гово-  
рить. Васъ никто не пойметъ.

— Я и самъ это думалъ! А вѣдь сколько лѣтъ я учился этому проклятому языку въ тюрьмѣ!—вздохнулъ Пазульскій, затѣмъ улыбнулся.—Спасибо вамъ за то, что меня тогда не выдали! Смѣяться бы стали, а мнѣ это не годится... Спасибо, что поддержали.

И онъ крѣпко нѣсколько разъ пожалъ мнѣ руку.

Въ чемъ заключается это обаяніе и эта власть Пазульскаго надъ каторгой?

Прежде всего,—его всѣ боятся потому, что онъ самъ ничего не боится. И онъ это доказалъ!

Во-вторыхъ, боятся его прогнѣвить, чтобы Пазульскій „чего не сказалъ“. Это типичнѣйшій изъ „Ивановъ“, человѣкъ слова: что онъ сказалъ, то онъ и сдѣлаетъ,—онъ и это доказалъ.

Таковъ этотъ „человѣкъ съ висѣлицы“

Пазульскій теперь уже старикъ, лѣтъ шестидесяти. Удивительно бодрый и крѣпкій. Силы, говорятъ, онъ феноменальной. Черты лица у него удивительно правильныя, красивыя, и особенно замѣчательны глаза: сѣрые, холодные, съ властнымъ взглядомъ, который трудно выдерживать. Въ немъ какъ-то во всемъ чувствуется привычка повелѣвать. Красивыя губы подъ полусѣдыми усами нѣтъ-нѣтъ да и подергиваются презрительной улыбкой

Пазульскій — полякъ.

— Вѣроисповѣданія числюсь католическаго! — говоритъ онъ. — Но мнѣ это все равно. Православное, католическое, — я ни во что въ это не вѣрю.

— Значить, „тамъ“, по вашему мнѣнію, Пазульскій, ничего нѣтъ?

— Ничего!

— И души?

— Какая душа! Что человѣкъ помираетъ, что собака, — все равно. Я видалъ: „...“

А онъ дѣйствительно „видалъ“.

Я нарочно убивалъ собакъ, чтобы посмотреть. Никакой разницы. Смотрить на тебя, словно сказать хотеть: „Только не мучай! Поскорѣ!“ Живеть — смерти боится. Умираетъ — боли боится. Это все тѣло. Боли боится и наслажденія хотеть. Жизнь — это наслажденіе. Только съ наслажденіемъ и начинается жизнь. Разумная-то. А только необходимое, ѣсть да пить, это ужъ человѣкъ будетъ даже ни собака, даже ни свинья, даже ни крыса. Это уже будетъ вошь. Да и у той, небось, свои наслажденія есть! И она къ наслажденію стремится. Вѣдь и собака и свинья, глядишь, на солнцѣ ляжетъ, бокъ погрѣетъ, наслажденія отъ жизни хотеть. А заprite собаку въ комнату, дайте ей только необходимое,—завоетъ. О наслажденіи вѣтъ будетъ!





Виды Сахалина "Мостъ около селенія Рыковскаго."

Такова „философія“ Пазульскаго, до которой онъ дошелъ своимъ умомъ.

— У человѣка есть деньги, онъ и наслаждается: пьетъ тонкія вина, ѣстъ деликатныя блюда, имѣетъ красивыхъ женщинъ. „У меня, — говорить, — есть деньги, черезъ нихъ я и наслаждаюсь. А у тебя нѣтъ денегъ, ты и не наслаждайся!“ — „Хорошо, братъ! Если все черезъ деньги, то я возьму у тебя твои деньги, и самъ черезъ нихъ буду наслаждаться, чѣмъ мнѣ на тебя-то смотрѣть!“ Такъ уже все заведено.

Таково практическое примѣненіе „философія“ Пазульскаго.

Пазульскій — это громкое имя на нашемъ югѣ, на юго-западѣ и въ Румыніи. Его долго еще не забудутъ. Онъ былъ атаманомъ трехъ разбойничьихъ шаекъ и дѣйствительно „творилъ чудеса“.

Его специальностью были грабежи. И въ особенности грабежи въ помѣщичьихъ усадьбахъ. Убіиства онъ всегда „терпѣть не могъ“.

— За ненадобностью. Я беру то, что мнѣ нужно. Деньги его. А жизнь его, на что она мнѣ?

Къ убійцамъ съ цѣлью грабежа, напримѣръ, къ Полуляхову, онъ относится съ величайшимъ презрѣніемъ.

— Сволочь! Намажутъ, намажутъ, а взять ничего не возьмутъ! Что не нужно, то у людей отнимутъ, а что нужно — того достать не сумѣютъ. Дурачье! Наберутъ топоровъ, наѣтся еще, скотина, передъ этимъ! „Валай, Ивашка, бей по головамъ! Кроши, Ямеля, твоя нядѣдя!“ А зачѣмъ это имъ нужно? По головамъ-то!

— Да вѣдь дѣло такое, Пазульскій. Говорятъ, нельзя имъ безъ „этого“.

— Оттого, что дурачье! Потому и „нельзя“. Зачѣмъ у человѣка ненужную мнѣ вещь отнимать, жизнь, когда у него нужная мнѣ вещь есть: страхъ.

— А не напугается?

— Ну, это какъ напугать!

О своемъ „прошломъ“ Пазульскій не говоритъ. Это пахло бы хвастовствомъ. А Пазульскій не изъ тѣхъ людей, которые хвастаются.

Свѣдѣнія объ его прошломъ мнѣ пришлось собирать уже на югѣ Россіи. Это были дѣйствительно большія „предпріятія“. Намѣтивъ богатаго помѣщика, Пазульскій подсылалъ къ нему кого-нибудь изъ своихъ. Тотъ нанимался въ работники, жилъ, высматривалъ, выглядывалъ. И когда Пазульскій съ шайкой являлся на „дѣло“, онъ былъ освѣдомленъ обо всемъ: о складѣ жизни, привычкахъ, расположеніи дома. Онъ билъ безъ промаха: выбиралъ самый удобный часъ, когда ему никто помѣшать не могъ.

Всѣ роли бывали распредѣлены, всякій зналъ свое дѣло. Одни вязали спящую дворню, другіе караулили. Самъ Пазульскій брался за хозяевъ, никогда не довѣрялъ ихъ никому изъ шайки: боялся, быть-можетъ, что потеряютъ терпѣніе, не выдержатъ и убьютъ.

Онъ любилъ при этомъ страшную обстановку: револьверъ, кинжалъ, маски. Отчасти, вѣроятно, потому, что такъ страха больше наговнись, отчасти, быть-можетъ, потому, что въ этомъ бандитѣ есть любовь къ романтическому, и онъ умѣетъ изъ всего извлекать наслажденіе.

— Надовсетакъ сдѣлать, чтобы и вспомнить потомъ пріятно было! — какъ-то вскользь замѣтилъ онъ.

Его „слава“ была такъ велика, что, говорятъ, при одномъ имени „Пазульскій“ люди сами отлавали деньги. Появились на югѣ даже лже-Пазульскіе.

— Но вѣдь случалось убивать? — спросилъ я какъ-то Пазульского въ минуту болѣе откровенной бесѣды.

Онъ поморщился:

— Случалось. Что жъ! Если самъ ужъ человѣкъ лѣзетъ! Его урезониваешь, а онъ лѣзетъ! Ну, и... Да это дрянъ такая, что и вспоминать нечего. Не всегда все дѣлаешь, что хочешь. Во всякомъ дѣлѣ непріятности есть. Что вспоминать! Это только корова жвачку пережевываетъ, отрыгнетъ да и жуетъ. А человѣку это противно! Не будемъ объ этомъ!

Среди воровского и грабительнаго міра „атаманъ“ Пазульскій, конечно, имѣлъ огромное имя, и, когда онъ попалъ въ Херсонскую тюрьму, нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ командовалъ тюрьмой,



Типы каторжанъ.

какъ командуетъ ею на Сахалинѣ. Смотритель тюрьмы былъ человекъ новый, молодой, неопытный. Но онъ былъ человекъ добрый, и къ „знаменитости“, попавшей въ его тюрьму, отнесся очень мягко, внимательно и человѣчно. За это онъ понравился Пазульскому.

— Жаль мнѣ его стало. Вижу, человекъ вновь, чертей этихъ, арестантовъ, не знаетъ, держать ихъ не умѣетъ. И началъ я ему помогать. Совѣты давалъ, какъ ихъ въ подчиненіи держать, самъ, бывало, на нихъ прикрикнешь. И установился въ тюрьмѣ порядокъ: ходятъ по стрункѣ. Народъ — трусъ!

Пазульскій за это пользовался нѣкоторыми льготами, имѣлъ хорошій столъ. Это привилегированное положеніе не понравилось помощнику смотрителя изъ бывшихъ фельдшеровъ (удивительно, какая страсть у фельдшеровъ къ этой должности). „Помощникъ“ возревновалъ, сталъ наговаривать смотрителю на Пазульскаго. Слабохарактерный смотритель поддался влиянію помощника. Пазульскаго начали „сокращать“, и, когда захотѣли „сравнять съ арестантами“, Пазульскій поднялъ всю тюрьму и устроилъ „бунтъ“. Но бунтъ не удался, Пазульскаго схватили и поволокли подъ ворота.

Тутъ разсвирѣпавшій помощникъ далъ себѣ волю. Приказалъ колотить Пазульскаго на глазахъ у всей тюрьмы, смотрѣвшей на это изъ оконъ.

— Это было для Пазульскаго „хуже смерти“.

Онъ только сказалъ „помощнику“:

— Вы зашли въ ресторацію пообѣдать, но не спросили, какая здѣсь цѣна.

Избитаго дополусмерти Пазульскаго посадили въ карцеръ, и, когда онъ, „би.ый“, отсидѣвъ въ карцерѣ, сошелъ въ общую арестантскую камеру, его первымъ словомъ было обѣщаніе убить помощника.

Вскорѣ Пазульскій бѣжалъ. Прошло два года. Его снова поймали гдѣ то въ Крыму и препроводили въ Херсонскую тюрьму. Смотритель былъ тотъ же. Помощникъ тоже. Помощникъ уже давно забылъ про все и даже встрѣтилъ Пазульскаго по-пріятельски:

— А! Пазульскій! Привелъ Богъ опять увидѣться!

Пазульскій отвѣтилъ:

— Привелъ Богъ. Это вѣрно.

Однажды во время обхода камеры Пазульскій обратился къ помощнику-фельдшеру, шедшему за смотрителемъ.

— Будьте такъ добры, посмотрите мнѣ горло, у меня что-то горло болитъ.

Они подошли къ окну, чтобы лучше видѣть. Тогда Пазульскій быстро схватилъ его одной рукой за талію, прижалъ, а другою „провелъ ножомъ по горлу“. Въ рукавѣ приготовленъ былъ, даже не пикнулъ! Бросилъ его на полъ и говоритъ: „Расплатился!“

Разсказывая это, Пазульскій вздохнулъ съ такимъ видомъ облегченія, словно онъ до сихъ поръ еще испытываетъ чувство какого-то удовлетворенія.

Убийство начальника — „за это веревка“, и вотъ почему каторга со страхомъ смотритъ на человѣка, который черезъ два года одержалъ „разъ данное слово“.

Пазульскій былъ приговоренъ къ повѣшенію. Онъ сидѣлъ въ тюрѣ и ждалъ.

— Страшно?

— Томительно. Скорѣй бы! — думаешь. Ну, чего тянуть? Повѣсили бы—и къ сторонѣ.

Какъ и большинство, какъ почти все „настоящіе преступники“, онъ, хотя и въ Бога не вѣритъ, но суевѣренъ.

— Снился мнѣ сонъ: столбъ высокій, высокій. „Къ чему бы, думаю? Значитъ, меня завтра повѣсятъ!“ Такъ и вышло. Приносятся вечеромъ чистое бѣлье, значитъ, утретъ казнь!

Пазульскій отказался отъ духовника и на эшафотъ всѣхъ поразилъ. Онъ оттолкнулъ палача.

— Не хотѣлъ, чтобы палачъ руками дотрогивался, противно было. Вздвѣжалъ на западню и самъ на себя набросилъ петлю.

Пришлось кричать ему:

— Стой! Стой!

Ему прочли помилованіе.

— Тутъ ужъ замутилось у меня передъ глазами, все поплыло, углыло, — говоритъ Пазульскій.

Смертная казнь была замѣнена каторгой безъ срока. Пазульскаго отправили въ Сибирь; на одномъ изъ этаповъ онъ „смѣнился“ съ какимъ-то маловажнымъ арестантомъ, проигравшимся въ карты. Тотъ пошелъ подъ именемъ Пазульскаго, а Пазульскій бѣжалъ и вернулся на югъ.

Но „подвиги“ Пазульскаго, его „казнь“ слишкомъ шумѣли на югѣ. Его узнали, поймали, обвинили.

— Всякая собака меня знала! Немудрено. Эта извѣстность-то меня и погубила!

Пазульскій былъ приговоренъ въ Одессѣ къ 12 годамъ „испытемости“, 100 плетямъ и 3 годамъ прикованія къ тачкѣ.

Такъ онъ попалъ на Сахалинъ.



Онъ сидитъ въ самомъ страшномъ номерѣ Александровской кандалной тюрьмы. На табличкѣ съ фамилиями, висящей около двери этого номера, значится все:

— Безъ срока... Безъ срока... Безъ срока...

Тутъ собрана „головка“ кандалной каторги.

И Пазульскій держитъ этихъ людей въ полной зависимости и нравственной, какъ человѣкъ, лишенный страха, и матеріальной: онъ занимается ростовщичествомъ.

Страшный этотъ старикъ. Онъ сидитъ въ своемъ темномъ углу, словно огромный паукъ, который держитъ въ своей паутинѣ 19 бьющихся, жалобно пищащихъ мухъ.

— Вотъ, — сказалъ онъ мнѣ какъ-то, показывая на маленькія углубленія: вдавленные мѣста въ деревѣ на его мѣстѣ, на нарахъ. — Знаете что это?

— Что?

— Это я пролежалъ!

### П л е б е й.

Если Пазульскій — аристократъ каторги, то Антоновъ, по прозвищу Балдоха, презрѣннѣйшій изъ ея плебеевъ.

Вся кандалная относится къ нему съ обиднымъ пренебреженіемъ.

И не то, чтобы онъ сдѣлалъ что-нибудь, съ точки зрѣнія каторги, предосудительное, а такъ, просто:

— Что это за человѣкъ! Ни Богу свѣча ни чорту кочерга! Одно слово — Балдоха!

Спеціальность Балдохи было — душить.

Онъ передушилъ на своемъ вѣку...

— Постой! Сколько? — спрашиваетъ самъ себя Балдоха, загибаетъ корявые пальцы и всегда сбизается въ счетъ.

— Душъ одиннадцать!

И никогда не видалъ денегъ больше 10 рублей.

Антонову-Балдохѣ 54 года, на видъ подъ 40, по уму немного.

Фигура у него удивительно нескладная, лицо корявое и видъ нелѣпый.

Онъ родился въ Москвѣ, на Хитровкѣ. Ни отца ни матери не зналъ. Выросъ въ ночлежномъ домѣ.

Высшая радость жизни для него — портерная.

— А что, Балдоха, здорово бы теперь тебѣ въ Москву?

— На Грачевку бы! Въ портерную! — улыбается во все лицо Балдоха. — Ахъ, городъ хорошій! Сколько тамъ портерныхъ!

Когда онъ хочетъ рассказать что-нибудь необыкновенно величественное изъ своей прошлой жизни, онъ говоритъ:

— И спросилъ я себѣ, братцы вы мои, пива полдюжины!

Говорить онъ на своемъ особомъ языкѣ: смѣси Хитровки, ка-торги, языка нищихъ и языка арестантовъ.

Человѣкъ для него — „пассажиръ“. Онъ не просить, а „по пассажиру стрѣляетъ“. Не душить, а „баки заколачиваетъ“. Маленькій воровскій домикъ — у него „гитара“. Часы или „луковица“, или „подсолнухъ“, глядя по тому, серебряные или золотые.

— Звѣздануть пассажира гитарой по становой жилѣ да подсолнухъ слямзить. Куда какъ хорошо!

— Дозвольте васъ, ваше высокое благородіе, подстрѣлить! — говоритъ онъ, прося гривенникъ.

Онъ, случилось, „бралъ“ и „подсолнухи“ и брильянты, но онъ всю жизнь свою про-ходилъ въ опоркахъ: „взявъ“ хорошую вещь, шелъ къ покупщику краденаго, и ему давали за вещь, стоящую сотни рублей:

— Рупь, много два!

Онъ сейчасъ же пропивалъ, и на утро просыпался опять голодный, холодный, раздѣтый.

Онъ не то, чтобы былъ пьяницей. Но онъ не привыкъ къ тому, чтобы у него была какая-нибудь собственность, и когда товарищи „для работы“ справляли ему чуйку синяго сукна, сапоги съ набормъ, картузь, онъ сейчасъ же, по окончаніи „дѣла“, сбывалъ это и возвращался въ „первобытное состояніе“.



Арестантскіе типы.

Московскіе старожилы помнятъ еще знаменитую, савѣршествовавшую когда-то въ Замоскворѣчьи шайку „замоскворѣцкихъ баши-бузуковъ“, какъ ихъ прозвали.

Шайка держала москвичей въ страхѣ и трепетѣ. Съ прохожихъ по вечерамъ, въ глухихъ переулкахъ, срывали шапки, отрывали воротники у шубъ, стаскивали часы. Обыкновенно прохожаго въ глухой мѣстности настигалъ лихачъ, съ лихача соскакивали двое, грабили прохожаго, вскакивали въ сани, лихачъ ударялъ по лошади, и поминай, какъ звали.

Кромѣ этихъ наглыхъ, открытыхъ грабешей, безпрестанно случались убійства.

Душили богатыхъ, одинокихъ людей, исключительно старообрядцевъ.

— Почему старовѣровъ? — спросилъ я у Балдохи, героя всѣхъ этихъ похощеній.

— Столовѣровъ-то? Потому „подводчикъ“—портерщикъ — столовѣръ былъ. Онъ своихъ всѣхъ и зналъ.

Въ шайкѣ этихъ „баши-бузуковъ“ Балдоха былъ специалистомъ-душителемъ.

По большей части онъ занимался сдѣльно: задушить, — платье справить и десять рублей.

— Почему же это такъ? Ремесло это твое, что ли?

— Извѣстно, ремесло.

— Что же ты учился ему, что ли?

— Извѣстно, учился. Безъ науки ничего нельзя.

— Гдѣ же ты учился?

— А по портернымъ. Сидитъ какой выпившій около стѣнки. Сейчасъ его за машинку и объ стѣну головой.

— Насмерть?

— Зачѣмъ насмерть! Я не во-всю. А такъ только, чтобы пассажира взять, чтобы и не пикнулъ. Не успѣлъ, то-есть.

— А другіе-то, что же, безъ тебя этого сдѣлать не умѣли, что ли?

— Умѣли. Да съ другими страшно. А со мной ничего. Говорю: пикнуть не успѣетъ. Вы, можетъ, слышали, въ Орлѣ такое дѣло было, брильянтика обобрали и мастера задушили. Мое было дѣло. Меня въ Орелъ нарочно возили. На всякій случай былъ взять. Думали днемъ сдѣлать дѣло съ „преступленіемъ“, а вышло вечеромъ. Забрались это въ магазинъ они, а я за дверью стою, за задней, караую. Только идетъ вдругъ мастеръ. Онъ при магазинѣ жилъ. И вѣдь какъ! Перегородка, а за перегородкой другая квартира, а тамъ бѣлошвейки сидятъ, пѣсни играютъ. Все отъ слова до слова

слышно. Дохнетъ, — услышать. Тутъ нужна рука! Отперъ это онъ дверь, отворилъ только, я его за машинку взялъ и наземъ положилъ. Хотя бы дохнулъ! Я его на полъ сложилъ, а за перегородкой пѣсни играютъ. Такъ ничего и не слышали!

Говоря о своемъ „ужьнѣ“, Балдоха удивительно воодушевляется, и однажды, показывая мнѣ, какъ это надо продѣлывать, какъ-то моментально подставилъ мнѣ сзади ногу, одной рукой обхватилъ за талию, а другую поднесъ къ горлу.

Я не успѣлъ, дѣйствительно, мигнуть, какъ очутился, совершенно безпомощный, у него на рукахъ.

Балдоха поблѣднѣлъ, какъ полотно, весь затрясся, поставилъ меня на ноги и отскочилъ.

— Ваше высокоблагородіе!.. Простите!.. Ей Богу, я васъ не хотѣлъ... Такъ, въ разговорѣ...

Онъ хотѣлъ броситься въ ноги. Мнѣ долго пришлось его успокаивать.

Онъ положительно „любитъ свое дѣло“. Да, впрочемъ, это вѣдь единственное дѣло, которое онъ и знаетъ. Единственный его ресурсъ.

Когда его уже очень

изведетъ каторга, — у него есть только одно средство обороняться:

— Возьму за машинку, снова не дохнешь.

Кромѣ этого „своего дѣла“, Балдоха знаетъ еще грамоту. Онъ выучился въ исправительномъ пріютѣ.

— Она-то меня и сгубила!

„Ваши-бузуки“ были открыты, благодаря Балдохѣ.

Съ товарищемъ онъ явился къ одному старому одинокому старообрядцу-лѣснику будто бы покупать дрова.



Арестантскіе типы.

Среди разговора Балдоха задушил старика, обыскали трупъ, переломали все въ квартирѣ, — ничего не нашли.

На слѣдующій день, читая въ портерной газету, онъ пречелъ и про это убійство:

— „Деньги, — что-то около 30 тысячъ, — были спрятаны за голенищами у покойнаго и остались нетронуты“.

Балдоха расхохотался.

— Чего хочешь? — спросилъ портерщикъ.

— Да какъ же! Столовѣра какіе-то вчера въ Сокольникахъ убили, вездѣ денегъ шарили, а деньги-то за голенищемъ у его были!

„Убійство въ Сокольникахъ“ надѣлало страшнаго шума въ Москвѣ. Полиція была поставлена на ноги. Отъ портерщика узнали про подозрительный смѣхъ Балдохи, забрали его, уличили.

— Но неужели ты такъ спокойно ходилъ на такія дѣла?

— А то еще какъ же? Такъ-то, извѣстно, оно нескладно. Такъ я всегда передъ „дѣломъ“ стаканъ водки пилъ. Для полировки крови.

Какъ сноситъ онъ каторгу?

Какъ-то я спросилъ его что-то про тюрьму.

— Тюрьма? Ничаво тюрьма! Чисто ночлежный на Хитровкѣ.

## Отцеубійца.

Маленькая, чрезвычайно опрятная каморка. У окна, въ очкахъ, старикъ портняжить и мурлыкаетъ про себя что-то „духовное“.

При нашемъ входѣ, — мы съ докторомъ Лобасомъ обходили въ посту Дуэ и дома „вольныхъ“, не живущихъ въ тюрьмѣ, каторжанъ, — при нашемъ входѣ онъ всталъ, поклонился чрезвычайно учтиво, не по-каторжному, и сказалъ:

— Милости прошу, Николай Степановичъ! Милости прошу, сударь!

Доктора Лобаса, котораго вся каторга прямо-таки обожала за его доброе, человѣчное отношеніе, онъ зналъ.

Мы сѣли и предложили и ему сѣсть.

— Нѣтъ, покорнѣйше благодарствую. Не извольте беспокоиться.

— Да садись, старикъ

— Нѣтъ ужъ, не извольте беспокоиться. Благодарствую.

Старикъ онъ былъ необыкновенно благообразный, славный и симпатичный. Говорилъ тихо, необычайно какъ-то кротко, улыбался улыбкой немножко грустной, немножко виноватой.

— Поселенецъ, что ли?

— Никакъ нѣтъ-съ. Въ поселенцы я выйти не могу. Я безсрочный. Меня по-настоящему и изъ испытуемой не должны выпускать.



Такое наказаніе полагается только за одно преступленіе.

— Да за что же ты?

— За родителей. Отцеубійство совершилъ.

— А давно на каторгѣ?

— Пятнадцатый годъ.

— Да сколько жъ тебѣ лѣтъ?

— Шестьдесятъ одинъ.

— Такъ что, когда ты это сдѣлалъ, тебѣ было...

— Да ужъ подъ пятьдесятъ было.

— Отцу сколько было?

— Родителю за семьдесятъ.

Почти пятидесятилѣтній старикъ, убивающій семидесятилѣтняго отца. Что за необыкновенная стариковская трагедія?

— Какъ же такъ? За что же?

Старикъ потупился, помолчалъ, вздохнулъ и тихо сказалъ:

— И говорить-то срамъ. Да передъ вами, Николай Степановичъ, молчать не стану. Издалека это пошло, — еще съ молодыхъ годовъ. Вонъ откуда. Озорникъ былъ родитель мой. Грѣхъ мой великій, а не каюсь. Какъ хотите, такъ меня и судите!

И онъ говорилъ это такъ степенно, кротко: что убилъ отца и не кается.

— Издавна, судари мои, началось, еще какъ меня поженили. Крестьянствовали мы, жили безъ бѣдности, работниковъ даже имѣли. Женился я по сердцу. И Марья за меня по сердцу шла. Марьей покойницу звали, царство ей небесное, вѣчный покой. Домъ, говорю, богатый, зажили — лучше не надо. Марью въ домъ всѣ влюбили. Оно бы мнѣ тогда вниманье обратить надоть. Родитель больно къ Марьѣ добръ былъ. Въ городъ поѣдетъ, — всѣмъ гостинецъ, а Марьѣ особливо. Нехорошо это у насъ по крестьянству, когда свекоръ къ молодой снохѣ доберъ больно. Не полагается. Да нешто я что зналъ! Смотрѣлъ себѣ да радовался, что Марья такъ къ дому прилась, что любить. Только и мнѣ въ глаза кидаться начало. Ужъ больно родитель доберъ. Ужъ такъ доберъ, такъ доберъ! А старикъ онъ былъ строгій, вдравственный. Всѣхъ во какъ держалъ, пикнуть при немъ не смѣли... Лежу я разъ въ ригѣ, усталъ, отдохнуть днемъ легъ, — только и слышу Марьинъ голосъ: „Нешто, батюшка, это возможно?“ Мнѣ черезъ скважину-то, щель въ стѣнѣ была, видать. Выбѣгаетъ на луговину Марья, а за ней родитель. Марья отъ него, а онъ за ней. Смѣется. „Анъ, — говорить, — поймаю! Анъ, — говорить, — поймаю!“ Только Марья, отъ него убѣжала, а онъ, песъ, стоитъ такъ, смотреть ей вослѣдъ, посмѣивается. „Такъ вотъ оно что!“ думаю. Тутъ

мнѣ въ голову вступило, себя не помню. Пришелъ домой, Марью въ кѣтъ вызвалъ да за вожжи. „Ты, что жъ это,—говорю,—шкура? Съ р дителемъ играешь?“ А она въ ноги да въ слезы. „Онъ,—говорятъ,— Лешенька, ничего. Онъ такъ“. Сказать, то-есть, совѣстилась, съ чѣмъ къ ней пристаешь. Возилъ я ее вожжами, возилъ. Къ родителю пошелъ. „Такъ, молъ, и такъ, батюшка. Выдѣли насъ. Сами собой жить будемъ. Потому какъ я нынче, въ ригѣ лежамши, надумалъ“... Нарочно ему про ригу-то говорю. Насупился старикъ. „Мало чего,—говорятъ,—ты тамъ, по ригамъ валяишися, ценокъ, надумаешь. Домъ — полная чаша. Стану я изъ-за тебя этакую благодать рушить! Ишь, чего выдумалъ! Вонъ пошелъ съ глазъ моихъ, подлець!“ И пошло тутъ и пошло. Придетъ Марья изъ поля,—синякъ на синякъ. „Это кто тебя?“ спрашиваю. „Батюшка“, разливается и плачетъ. Я къ родителю: „Нельзя такъ, батюшка!“ Онъ меня за волосы. Погому, говорю, хоть и больше были, а все какъ дѣти махонькіи передъ ними ходили. Онъ меня за волосы. „Ты,—говоритъ,—еще меня учить надумалъ! Всѣ,—говоритъ,—вы лежебоки! И Марья твоя такая же. Добромъ да лаской съ вами ничего не подѣлаешь,—такъ я жъ вамъ себя покажу. Будете у меня работать!“ А напрямки-то сказать ему, — что, молъ, отецъ, дѣлаешь, — языкъ не поворачивается,—срамота, чужіе люди здѣсь, работники. И пошла тугъ жизнь. Что каторга! Ничего, судари мои, каторга не значить. Билъ же мы Марью, покойнику. Страдалица была, мучоница! И родитель бьетъ: зачѣмъ отъ него бѣгаетъ. И я съ горя бью,—все мнѣ кажется, что она, то-есть, виновата, сама къ нему ластится. И этакъ-то двадцать годовъ! Безсрочная!

Старикъ отвернулся, утеръ слезы. Голосъ его дрожалъ и звенѣлъ. — За Марью Господь Богъ меня и наказалъ. За Марью я и несъ свой крестъ и заслужилъ. И мучаюсь, какъ она, мученица, мучилась. До самой смерти, покойница, мнѣ не признавалась. Стыдно было. „Это,—говоритъ,—Лешенька, ты такъ только думаешь. Ты, Лешенька, говоритъ,—не думай, не мучь себя. Батюшка, онъ строгій, онъ только за работу взыскиваетъ. Ты не думай“. А какое тамъ „не думай“. У самой слезы въ три ручья. Бью, себя не помню, а она хоть бы крикнула, нешто невинные такъ терпятъ? Слезами давится, и свое только твердить: „Лешенька, не мучай себя, не думай!“ Зимой въ избѣ ночь лежишь,—не спитъ родитель, слышу, какъ не спитъ, ворочается, сопить. Сна на него нѣту. И я не сплю. И Марья не спитъ, дрожить вся. Извините,—встанетъ, куда пойдетъ, слышу, и родитель съ полатей тихонько лѣзетъ. Чисто за горло меня схватить. „Куда,—говорю,—батюшка?“ — „А тебѣ,—говоритъ,—что? Ишь,

полученщики, не спятъ, шлятся! Еще избу зажгутъ. Пойти, поглядѣть!“ „И я, молъ, батюшка, съ вами!“—„Лежи ужъ!“ говорить. Одначе иду. Колоколь у насъ въ село везли. Такъ онъ дома остался, подсоблять не пошелъ: „Идите,—говорить, вы подсобляйте, а у меня поясница что-то болитъ“. Пошли, все глядятъ, посмѣиваются. Потому дѣло ясное...

— Почему же дѣло ясное?

— Примѣта есть по крестьянству у насъ. Какъ снохачъ помогать возьмется,—колоколь съ мѣста не сдвинешь. Пришелъ я съ помочи домой. „Что жъ, батюшка, —спрашиваю,—колоколь везти не пошли? Насъ только срамите!“ Тутъ я только одинъ разъ ему про это и сказалъ. Темнѣй ночи сталъ старикъ: „Ты,—говорить,—миѣ глухостей говорить не смѣй. А то возьму орысину да орысиной! Сказано, поясницу ломить“. А какая тамъ поясница! Просто боялся, чтобъ народъ отъ веревки не отогналъ: „Өедулычъ, молъ, отойди, не твое совсѣмъ дѣло“. Потому, какъ мы навозъ свой отъ людей ни хоронили, да нешто отъ людей что ухоронишь?—все про наши дѣла знали. Срамота. А у меня ужъ сынокъ Николушка подрастаетъ. Все понимаетъ. И вѣдь что за старикъ былъ! Вѣдь ужъ, почитай, старуха Марья-то стала,—такъ мы ее ухостили. Краше въ гробъ кладутъ,—ходить. А онъ все къ ней. Такъ, покуда совсѣмъ въ гробъ не забили, грѣхъ-то и шель.

Старикъ едва сдерживался отъ слезъ. Долго молчалъ, пока собрался съ силами продолжать.

— Могутный былъ старикъ. Смѣялся когда: „Миѣ бы, говорить, опять жениться, и то впору“. Померла Марья, повдоставалъ я, и пришла пора Николушку женить. Невѣсту ему взяли изъ хорошаго дома. Скромная была дѣвушка, хорошая. И что жъ бы вы думаете, онъ задумалъ? Не-песъ?

Старикъ даже плюнулъ съ омерзѣніемъ. Руки у него дрожали, голова ходуномъ ходила:

— Не-песъ? Смотрю въ городъ поѣхалъ, гостинцевъ всѣмъ навезъ, а Настѣ отдѣльно: „Это,—говорить,—тебѣ, умница. Почитай дѣдушку!“ Смотрю—плачетъ Настя. „Съ чего?“ спрашиваю. „Такъ!“ говорить. А сама разливается. Смотрю, куда Настя, туда и онъ плетется. Вижу я, онъ и насчетъ Насти свое удумалъ. Страхъ и ужасъ, судари мои, меня взялъ. Голова кругомъ пошла. „Что же это,—думаю,—я всю жизнь промучился, теперь Николушкѣ моему также мучиться? Когда жъ этому конецъ будетъ?“ Вижу, дальше да больше подбирается къ Настюшкѣ. Тутъ я Николушкѣ и открылся: все ему и рассказалъ, что съ его матерью было. Трясся Николушка, плакалъ.

„Слухомъ-то,—говорить,—я про нашъ домъ это слыхалъ. А только не вѣрилъ“.— „Теперь,—говорю,—нечего ужъ объ этомъ тужить. Надо за Настюшкой слѣдить!“ Думали, думали: что дѣлать? Хотѣли дѣлиться. Куда тебѣ! „Ишь,—говорить,—что надумали! Я тебя, дармоѣда,—эго на Николушку-то,—кормилъ, поилъ, а ты этаку ко мнѣ благодарность? этаку работницу изъ дома уводить? Это я,—говорить,—знаю, чы все штуки! Это онъ тебя, старый хрѣнь,—это на меня-то,—учить. Все хочется по своей волюшкѣ, своимъ умомъ пожить. Смотри,—говорить,—старикъ, не пришлось бы въ кусочки подъ старость лѣтъ за твои штуки пойти, ежели не угомонишься! А на раздѣлъ нѣтъ моего благословенія. Покуда не помру,—дома не нарушу!“ Видимъ, одно остается,—слѣдить, чтобы чего не случилось, не попустить. И пошли мы за нимъ вездѣ слѣдомъ. Жнитво было. Настюшка жала такъ отдѣльно, полосочку въ яру. Небольшой этакій яръ былъ, ложбиночка. Тамъ она и жала. Прихожу это я домой, „гдѣ батюшка?“ спрашиваю. „Ушелъ!“ говорятъ. Такъ у меня и екнуло. Я къ Николушкѣ: „А ну-ка, молъ, Николушка, пройдемъ къ ярику. Не ладно что-то, родитель изъ дому ушелъ“. Побѣгли мы къ ярику. Прибѣгаемъ, а онъ Настюшку-то боретъ. Волосья у нея растрепаны, рубаха,—въ одной рубахѣ у насъ жнутъ, жарко—рубаха разодрана. Отбивается Настюшка. А онъ ее пагаетъ. Вырвалась отъ него, бѣжать бросилась, а онъ схватилъ, тутъ, на межѣ, валялась коряжина, да за ней съ коряжиной. „Добромъ,—говорить,—лучше!“ Тутъ мы и выбѣгли. „Стой“, кричимъ. Увидаль онъ насъ, затрясся, озлился. „Вы,—кричить,—черти, тутъ что?“ Свѣту я не взвидѣлъ: Настюшка стоитъ въ драной рубахѣ,—срамота! Подхожу: „Не дѣло,—говорю,—старикъ, надумаль, не дѣло!“ А онъ на меня: „А,—говорить,—опять ты, старый чортъ, меня учить? Всю жизнь училъ, и теперь учить будешь? Вонъ,—говорить,—изъ моего дома! Пусть Николка съ Настасьей остаются. А ты съ глазъ моихъ долой! Довольно мнѣ тебя кормить, дармоѣда!“— „Ну, ужъ нѣтъ,—говорю,—старикъ, будетъ! Это тебѣ не Марья!“ А самъ все къ нему ближе да ближе. Еще пуще взбѣлся: „Что ты,—кричить,—мнѣ Марьей своей въ глаза все тычешь? Велика невидаль! Потаскуха была твоя Марья. Со всей деревней путалась! Вонъ!“—кричить. Да коряжкой-то на меня и замahнулся. Не помню ужъ я, какъ случилось. Выхватилъ коряжину у него изъ рукъ да по головѣ его. Онъ и присѣлъ. А я на него да за глотку. Помню только, что трясся весь. И ужъ такъ-то онъ мнѣ былъ противень, такъ гадокъ. „Пришелъ,—говорю,—старикъ, твой часъ!“— „Алеша,—говорить,—не буду!“ „Раньше,—говорю,—старикъ, объ этомъ бы подумать“. Да и стиснулъ ему

глотку... Стиснулъ—и держу. Держу и самъ ничего не вижу, не понимаю. Ужъ тогда очнулся, Николушка меня за руку трясеть: „Тягивка,—говорить,—вы дѣдушку задушили“. „Туда ему и дорога!—говорю.—Грѣшникъ“. Такъ-то, господа, дѣло все было...

— Ну, а присяжнымъ, старикъ, ты все это рассказалъ?

— Нѣтъ, зачѣмъ же-съ. Да я и не въ сознании судился.

— Почему же не сознался, не рассказалъ всего?

— Да какъ вамъ сказать? Первое, что, молъ, свидѣтелей не было. „Не я, да не я“. А второе—боялся Николушку съ Настей запутать. Люди молодые, имъ жить, а мое дѣло стариковское. А потомъ... что жъ этакій срамъ-то на люди выносить...

— Ну, а сынъ твой никакого участія въ этомъ не принималъ?

— Въ этомъ, что я сдѣлалъ? Нѣтъ-съ. Видѣть—видѣлъ, а убивалъ я одинъ. Мнѣ таить нечего. Теперь ужъ все одно. Сказалъ бы, если бъ это было. Все равно. Они ужъ померли. Вскорѣ, какъ меня засудили, Николушка померъ, а за нимъ и Настасья... Всѣ свое отмаялись и померли, одинъ только я остался и маюсь!..—улыбнулся старикъ своей грустной и виноватой улыбкой.—Маюсь да за Марьяну душу молюсь. Можетъ, хоть тамъ ей хорошо будетъ. А здѣсь что!.. Безотвѣтная была—мученица...

## Шкандыба.

Вѣчному каторжнику Шкандыбѣ 64 года. Это рослый, крѣпкій, доровый старикъ.

Шкандыба—сахалинская знаменитость. Его всѣ знаютъ.

Шкандыба отбылъ 24 года „чистой каторги“ и ни разу не приронулся ни къ какой работѣ.

— Вотъ те и приговоръ къ каторжнымъ работамъ!—похохатывается онъ.

Его драли мѣсяцами каждый день, чтобы заставить работать. Ни за что!

Сколько плетей, сколько розогъ получилъ этотъ человѣкъ!

Когда онъ, по моей просьбѣ, раздѣлся,—нельзя было безъ содроганія смотрѣть на этотъ сплошной шрамъ. Все тѣло его словно выжжено каленымъ желѣзомъ.

— Я весь человѣкъ поротый!—говорить самъ про себя Шкандыба.—Булавки, братъ, въ непоротое мѣсто не запустишь: вездѣ порото. Вы извольте посмотрѣть, я суконочкой потру. Гдѣ потереть прикажете?



Потреть суконкой тамъ, гдѣ укажутъ, и на тѣлѣ выступаютъ крестъ-накрестъ полосы—слѣды розогъ.

— Человѣкъ клѣтчатый! Кожа съ рисункомъ. Я кругомъ драный. Съ обѣихъ сторонъ. Чисто вотъ пятачокъ фальшивый, что у насъ для орлянки дѣлаютъ. Съ обѣихъ сторонъ орелъ. Какъ ни брось, все орелъ будетъ! И съ одной стороны орелъ и съ другой—орелъ. Такъ вотъ и я.

— Какъ же такъ съ обѣихъ сторонъ драный?

— А такъ-съ. Господинъ смотритель на меня ужъ очень осерчалъ: зачѣмъ работать не хочу. „Такъ я жъ тебя!“ говорить. Дралъ, дралъ, не по чѣмъ драть стало. „Перевернуть,—говорить,—его, подлеца, на лицевую сторону“. Чудно! По животу сѣкли, по грудямъ сѣкли, по ногамъ. Такого даже и дранья-то никто не выдумывалъ. Уморушка! Шпанка, такъ та со смѣху дохла, когда я этакъ-то на кобылѣ лежалъ. Необыкновенно!

— А работать все-таки не пошелъ?

— Нашли дурака!

Шкандыба по профессіи мясникъ. Въ первый разъ былъ приговоренъ на 12 лѣтъ за ограбленіе церкви и убійство. Затѣмъ бѣжалъ попался, и, въ концѣ-концовъ, „достукался до вѣчной каторги“.

Сначала его отправили на Кару, на золотые пріиски. Это были страшныя времена. Въ „разрѣзѣ“, гдѣ работали каторжане, всегда наготовѣ стояла кобыла. При каждомъ разрѣзѣ былъ свой палачъ, дежурившій весь день.

Шкандыбу привели на работу. Онъ рѣшительно отказался.

— Что это? Землю копать? Не стану!

— Какъ не станешь?

— А такъ. Земля меня не трогала, и я ее трогать не буду.

Шкандыбѣ въ первый день дали 25 плетей.

Во второй—50.

Въ третій—100 и чуть живого отнесли въ лазаретъ.

Выздоровѣлъ, привели,—опять то же:

— Земля меня не трогала, и я ее трогать не буду.

Опять принялись драть,—опять отправили въ лазаретъ.

Наконецъ устали,—прямо-таки, устали,—биться со Шкандыбой и отправили его на Сахалинъ.

На Сахалинѣ Шкандыба прямо заявилъ.

— Работать не буду. И не заставляйте лучше.

— Ну, такъ драть будемъ!

— Съ полнымъ моимъ удовольствіемъ. Ваше полное право. А работать вы меня заставить не можете.

Шкандыбу переводили изъ тюрьмы въ тюрьму, отъ смотрителя къ смотрителю, всякій раньше хвалился:

— Ну, у меня не то запоесть!

И всякій потомъ опускалъ руки.

Одинъ изъ самыхъ „ретиныхъ“ смотрителей К. рассказывалъ мнѣ.

— Да вы понятія имѣть не можете, что это за человѣкъ. Взялся

я за него. Каждый день 30 розогъ.— Да вѣдь какихъ! Порція. Прихожу утромъ на раскомандировку. Кобыла стоитъ, палачъ, розги. Въмѣсто „здравствуйте!“—первый вопросъ: „Шкандыба, на работу идешь?“—„Никакъ нѣтъ!“—„Драть!“ Идетъ и ложится. До чего вѣдь, подлецъ, дошелъ. Только прихожу, еще спросить не успѣю, а онъ ужъ къ кобылѣ идетъ и ложится. Плюнулъ!

Другой смотритель, тоже „ретиный“, которому давали Шкандыбу на укрощеніе, говорилъ мнѣ:

— Одно время думали,—можетъ, онъ какой особенный, къ боли нечувствительный. Доктору давали изслѣдовать. „Нѣтъ, — говорить,—ничего, чувствительный“. Драть, значить, можно.

„Спектакли“, которые ежедневно по утрамъ Шкандыба давалъ каторгѣ, составляли развлеченіе для тюрьмы. Глядя на него, и другіе „храбрились“, „молодечествовали“ и смѣлѣй ложились на кобылу.



Арестантскіе типы. Убийца.

Кромѣ того, каторга „дерзила“:

— Что вы, на самомъ дѣлѣ, ко мнѣ пристаёте съ работой? Вы, вонъ, подите, Шкандыбу заставьте работать! Небось, не заставите! Шкандыба давалъ „заразительный примѣръ“.

Его просили ужь работать хоть „для прилика“:

— Шкандыба, чортъ, хоть метлу возьми, дворъ подмети! Вотъ и вся тебѣ работа!

— Не желаю. Чего я буду мести? Не я насорилъ, — не я и мести буду. Я что насорю,—самъ за собой приберу.

— Ну, не мети, чортъ съ тобой! Хотя метлу-то въ руки возьми!

Зачѣмъ мнѣ ее въ руки брать? Она не маленькая. И одна въ углу постоитъ. Ей не скучно: тамъ другія метлы есть.

— Разъ, впрочемъ, топоръ въ руки взялъ!—смѣется Шкандыба.

— Работать хотѣлъ?

— Нѣтъ, надзирателю голову отрубить надо было. Надзиратель такой былъ, Чижииковъ. Выслужиться хотѣлъ. „Я, — говоритъ,—его заставлю работать. Не беспокойтесь. Что его драть, — процедура длинная! Я его и такъ, и кулакомъ по мордѣ“. Разъ меня въ рыло, два меня въ рыло. Походя бьетъ. „Духъ,—говоритъ,—я изъ тебя вышибу!“—„Смотри,—говорю,—чтобъ тебѣ кто въ рыло не заѣхалъ!“— „Я, — говоритъ,—не опасаясь!“—„Ну, а я, — говорю,—опасаясь!“ Пошелъ, взялъ топоръ, хлестъ его по шеѣ. Напрочь хотѣлъ башку отрубать,—вчистую. Тогда ужь никто въ рыло его не смажетъ.

— И что же, насмерть?

— Жалко, живъ остался. Наискось махнулъ. А еще мясникомъ былъ, туши рубилъ. Разъ—и готово. А тутъ не сумѣлъ этакого пустого дѣла сдѣлать. Топоръ сорвался, стало-быть!

За это Шкандыбу приковали къ стѣнѣ и приговорили къ вѣчной каторгѣ.

— Сиж у стѣны прикованный: „Что, молъ, взяли, работаю?“

Замѣчательно. Все дѣлали со Шкандыбой. Только одного не пришло никому въ голову: освидѣтельствовать состояніе его умственныхъ способностей.

А странностей у Шкандыбы, и помимо упорнаго нежеланія работать, много.

То онъ начинаетъ вдругъ пѣть во все горло. То разговариваетъ, разговариваетъ,—вскочить и убѣжить, какъ полоумный.

— Юродствуетъ!

Сумасшедшимъ прикидывается, чтобы не драли!

— Нагличаетъ: „Вотъ, молъ, всѣ работаютъ, а я пѣсни орать буду“.

Такъ рѣшало тюремное сахалинское начальство, а когда на Сахалинѣ появились дѣйствительно гуманные врачи, готовые взять подъ свою защиту больного, борьба со Шкандыбой была уже кончена: на него „плюнули“ и зачислили богадѣльщикомъ, чтобы хоть какъ-нибудь оформить его „неработаніе“.

А, впрочемъ, Богъ его знаетъ, можно ли признать Шкандыбу сумасшедшимъ. Ненормальнаго, страннаго въ немъ много, но сумасшедшій ли онъ?

Въ одну изъ бесѣдъ я спросилъ Шкандыбу:

— Скажи на милость, чего жъ ты отказывался отъ работы?

— А потому, что несправедливо. Справедливости нѣтъ, — вотъ и отказывался.

— Ну, какъ же несправедливо. Вѣдь ты самъ говоришь: церковь ограбилъ, человѣка убилъ?

— Вѣрно!

— Присудили тебя къ каторгѣ

— Справедливо. Не грабь, не убивай.

— Ну, и работай!

А работать не буду. Несправедливо.

— Да какъ же несправедливо?

— А такъ! Вонъ Ландсбергъ двухъ человѣкъ зарѣзалъ, а его заставляли работать? Нѣтъ, небось! Надъ нами же командиромъ былъ. Баринъ! Онъ инженеръ, или тамъ, сиперъ какой-то, что ли, дороги строить умѣть. Онъ не работаетъ, онъ командуетъ. А я работай! За что же, выходитъ, долженъ работать? За то, что человѣка убилъ? Нѣтъ! За то, что я дороги строить не умѣю. Такъ развѣ я въ этомъ виноватъ? Виноватъ, что меня не учили? Нѣтъ, братъ, каторга, такъ каторга, — для всѣхъ равна! А это нешто справедливость? Приведутъ арестантовъ: грамотный — въ канцелярію сиди, писаремъ, своего же брата грабь. А неграмотный — въ гору, уголь копай. За что жъ онъ страдаетъ? За то, что неграмотный! Нешто его въ этомъ вина? Справедливо?

— Потому ты и не работалъ?

— Такъ точно!

— Ну, а если бы „справедливость“ была и всѣхъ бы одинаково заставляли работать, ты бы работалъ?

— А почему жъ бы и нѣтъ? Знамо, работалъ бы. Какъ же не работать? Главное, справедливость. Я потому и Чижикову голову снести хотѣлъ. За несправедливость! Бей, гдѣ положено. Драть, по закону положено, — дери! Меня каждый день драли, — я слова не сказалъ: справедливо. Потому — законъ. А по мордѣ бить въ законѣ

не показано, — и не смѣй. Ты незаконничаешь, и я незаконничать буду. Ты меня въ рыло, — я тебя топоромъ по шеѣ. А что справедливо, — я развѣ прекословлю? Сдѣлай твое одолженіе. Что хошь, только, чтобъ справедливо!

Такъ и отбылъ Шкандыба свои 24 года „чистой каторги“, не подчиняясь тому, чего не считалъ справедливымъ.

### Наемные убійцы.

Они не разлучны. Гдѣ маленькій, тщедушный, вертлявый Миловановъ Карпъ, тутъ, глядишь, плетется и угрюмый, молчаливый Чернышовъ Анисимъ.

Они другъ на дружку страшно злы.

Анисимъ золъ на Карпа, какъ на доносчика:

— Черезъ его языкъ и въ каторгу попали.

Карпъ упрекалъ Анисима въ подлости:

— Языкомъ-то, братъ, вертѣть, дядя Анисимъ, нечего. Ты языкомъ-то, чисто хвостомъ, вертишь, — и туды и сюды. „Знать, молъ, ничего не знаю!“ Ишь, тоже, святой какой выискался. Нѣтъ, ты, братъ, по чистой совѣсти говори! Подлить-то нечего!

А держатся они всегда вмѣстѣ, рядомъ спятъ и изъ одного котелка хлебають:

— Вмѣстѣ суждены. Другъ отъ дружки отставать нечего.

Я познакомился съ ними на островѣ; они пришли съ вновь прибывшей партіей каторжанъ.

Ихъ ввели въ комнату, гдѣ происходилъ осмотръ, и надзиратель приказалъ:

— Раздѣвайся!

Испугались оба страшно.

Чередъ, братъ, пришелъ, дядя Анисимъ! Раздѣвайся!.. Совсѣмъ, что ль, раздѣваться-то надоть?

— Раздѣвайся, разувайся начисто.

Они въ уголышкѣ торопливо раздѣлись.

— Иди къ столу!

Длинный, какъ жердь, худой, какъ скелетъ, Чернышовъ Анисимъ западакъ къ столу съ самымъ несчастнымъ видомъ. Лицо сморщилось, — вотъ-вотъ навзрыдь заплачетъ. Миловановъ Карпъ стоялъ передъ столомъ въ конецъ растерянный. Нижняя челюсть у него отвисла, въ глазахъ былъ страхъ и ужасъ. Ноги дрожали и ходуномъ ходили. Дрожащими руками онъ почесывался.

— Куды ложиться-то? — спросилъ Миловановъ.



— Зачѣмъ ложиться?

— А драть?

— За что жъ тебя драть?

— А такъ, моль... Драть... По положенію...

Всѣ расхохотались. Миловановъ смотрѣлъ съ недоумѣніемъ.

Нѣтъ, братъ, тебя драть не будутъ. Пока еще не за что

Вотъ сдѣлаешь что, тогда выпорютъ!

— Покорнѣйше васъ благодарю!

Всѣ опять расхохотались. Ожившій Миловановъ и самъ засмѣялся.

— Слышь, дядя Анисимъ, драть-то не будутъ? Слышишь?

— Слышу!—отвѣчалъ Анисимъ такимъ равнодушнымъ тономъ, словно его нисколько это не интересовало.

Радость сдѣлала Милованова болтливымъ. Онъ пришелъ въ пріятное нервное возбужденіе, смѣялся и готовъ былъ болтать теперь безъ-умолку.

— За что суждены-то?

— По подозрѣнію въ убійствѣ!—отчеканилъ Миловановъ—обычный каторжный отвѣтъ. — Хозяина, стало-быть, убили!

— Съ грабежомъ?

— Нѣ! Зачѣмъ съ грабежомъ! Богъ миловаль! Ничего не грабили. Такъ убили.

— За что же убили?

За что убиваютъ? Извѣстно, за деньги! Такое уже положеніе, чтобъ за деньги!

— Хозяйка насъ запутала!—мрачно пояснилъ Анисимъ.



Арестантскіе типы.

— Такъ точно. Денегъ дала!—подтвердилъ и Карпъ.

— Наняли васъ, значить?

Карпъ посмотрѣлъ удивленно.

— Чего жъ насъ нанимать было? Мы и такъ въ работникахъ жили!

— А какъ же, говоришь, деньги?

— Благодарить — благодарила. Это ужъ какъ водится. А нанимать... нешто на такія дѣла нанимаютъ?

Миловановъ даже расхохотался.

— Ты и убивалъ?

— Я самый!

— Ну, а ты, Чернышовъ?

— Не въ сознаніи онъ!—вставилъ Миловановъ.

— Знать я ничего про эти дѣла не знаю. И слухомъ не слыхалъ. Такъ, Карпушка все плететъ!

Миловановъ завертѣлся.

— Ишь ты, сдѣлай милость. Какъ что,—такъ ты. А въ отвѣтъ, сейчасъ Карпушку!

Миловановъ подмигнулъ намъ на Чернышова.

— Хитрый мужикъ! Куда хитерь! Двѣ души при себѣ имѣетъ. Одну про себя бережетъ. А другу-то про людей, на, поди: чистехонька! „Не я да не я!“ Нѣтъ, братъ, тутъ языкомъ-то мести нечего. Ужъ разъ какъ въ каторгу попали,—тутъ дѣло ясное! Стало-быть, убили!

— Да какъ же дѣло-то вышло?

— Да какъ вышло! Очинно даже просто. Говорю—черезъ бабу!

— Въ работникахъ жили!—вставилъ свое слово Анисимъ, словно все объяснилъ.

— За жалованье?

Миловановъ такъ и фыркнулъ:

— Какое жалованье? Кто намъ съ дядей Анисимомъ жалованье положить?

И, дѣйствительно, парочка была убогая, на рѣдкость. Оба тщедушные, жалкіе, слабосильные до послѣдней степени, такіе, про которыхъ говорится: „Плевкомъ перешибешь“. Головы у обоихъ на рѣдкость маленькія—словно пучки какіе-то торчатъ. Лица глупыя, возбуждающія жалость. И какъ ихъ Богъ, такихъ, „не въ пору вмѣстѣ свелъ“.

— Такъ, за ради Христа, жили. Я-то шесть годовъ у хозяина выжилъ, а дядя Анисимъ черезъ два года пришелъ. Вѣрно говорю, дядя Анисимъ?

— Четыре года объ вешнемъ Николѣ было. Это вѣрно!—подтвердилъ Чернышовъ.

— Мельникъ хозяинъ-то былъ. Мельница своя была. Пришелъ я это къ мельницѣ, да и сѣлъ. И сижу.

— Да ты куда жъ шелъ?

— А такъ, никуда не шелъ. Куды мнѣ итти? Шелъ, и шелъ, и сѣлъ.

— Да ты чѣмъ же занимался?

— Да ничѣмъ не занимался. Такъ. Иду, иду,—гдѣ въ работники возьмутъ, за хлѣбъ за соль, — живу. Прогонять, — дальше пойду. Человѣкъ слабосильный! Сижу это. Мельникъ и увидалъ. „Чего, — говоритъ,—сидишь?“—„Такъ, молъ, не будетъ ли милость, не возьмете ли въ работники за Христа ради? Настоящимъ-то, то-есть, работникомъ куды мнѣ! А такъ, по дому, что поковырять могу“. — „Живи!“ говоритъ. Смиростивился. Я и зачалъ жить. А потомъ и дядю Анисима встрѣлъ и привелъ.

— Знакомы вы, что ли, были?

— Нѣтъ, зачѣмъ знакомы! Такъ. Шелъ по дорогѣ, смотрю, идетъ слабосильный человѣкъ, дохлый. „Куды, молъ, дядя?“—„Никуды, молъ. Безъ пристанища“. — „Идемъ къ нашему хозяину. Мужикъ добрый. Можетъ, жить оставить!“ Чисто дворняжка, — расхотался самъ надъ собой Миловановъ, — возьми одну дворняжку, она тѣ сейчасъ и другую приведетъ! Хозяинъ и дядю Анисима взялъ: „пуцай живеть, по мельницѣ тамъ что ковыряется“. Такъ мы оба и живемъ и ковыряемся! Когда одежину подарятъ, когда что.

— Дурно обращался, можетъ, съ вами хозяинъ! Злы на него были?

— Зачѣмъ? — даже испугался Миловановъ. — Для насъ онъ былъ, какъ ангелъ, дуракомъ никогда не назоветъ! Добрыѳущій былъ хозяинъ!

— Мужикъ былъ хорошій! — мрачно подтвердилъ и Чернышовъ.

— Не надо лучше былъ человѣкъ. Это вѣрно!

— А убили! Какъ же такъ?

— Опять-таки, говорю, черезъ хозяйку. Хозяйка така попалась. Жена хозяинова. И такая-то баба! Такая-то баба! Все въ шерстяныхъ платьяхъ ходила. Платокъ—не платокъ, рафинадъ-баба, просто мое почтенье. Вѣрно, дядя Анисимъ?

— Баба какъ баба, — философски замѣтилъ Чернышовъ.

— Другой такой бабы, свѣтъ обойди, не найти! Така баба! Вотъ она въ каторгу придетъ, сами увидите. Сейчасъ это все

узломъ завязеть и развяжеть. Чисто лиса. По снѣгу бѣжить и хвостомъ за собой слѣдъ замечаетъ. Сейчасъ на глазахъ тебѣ накрутить, навертить, и сейчасъ чисто! Прямо сказать надо баба—староста. Король-баба. Съ бариномъ, съ помѣщикомъ путалась. И того закрутила. По скусу она ему пришлась, все ее въ куфарки звалъ. Ну, ей и лестно. Какъ, бывало, мужъ отойдетъ, сейчасъ къ барину. Становой еще къ нему прѣдетъ, потому баринъ. Сладкія водки пьютъ, орѣхами щелкаютъ. Страсть! Сколько разъ насъ съ дядей Анисимомъ къ барину посылала: „Дома, молъ, ай нѣтъ? Мужъ въ городъ ѣдетъ“. Вѣрно показываю, дядя Анисимъ?

— Сколько разовъ до барина ходилъ. Это вѣрно!—поддерживалъ дядя Анисимъ.

— То-то и оно-то!

— А мужъ не звалъ?

— Гдѣ ему! Говорю, король-баба была. Зналъ бы онъ, такъ не оставилъ. Онъ бы ей показалъ барство!—засмѣялся Миловановъ. — Мужикъ былъ твердый. Вѣрно говорю, дядя Анисимъ? Что жъ ты молчишь?

— Онъ бы ее поучилъ!

— Онъ бы ее такъ поучилъ! Этого-то она и боялась. Ей и боязно. Опять же и въ куфарки къ барину пойти лестно. Она и егозить, она и егозить. Что ужъ дѣлать-то, не знаетъ. И надумала!

— Постой, постой! А вы-то, какъ же? Хозяинъ, говорите, благодѣтель былъ, а вы отъ жены къ барину бѣгали? Никогда хозяину ничего не говорили?

Миловановъ посмотрѣлъ съ удивленіемъ:

— Непто между мужемъ и женой встревать можно? Ихнее дѣло хозяйское, наше дѣло работницкое. Сказали — иди. Чай, тоже къ дому-то привыкли. Собака, и та къ человѣку привыкаетъ!.. Вотъ она, хозяйка-то, и надумала. Позвала насъ съ дядей Анисимомъ въ горницу, за столъ посадила. Таково вѣжливо, по-хорошему: „Вы бы, — говорить, — дяденька Карпъ, еще откушали! Вы бы дескать, дяденька Анисимъ, еще скушали“. Ахъ, хитрая баба! Ахъ, хитрая! Пирогомъ угостила, водки по стаканчику поднесла, и полштофъ не убрала, на столъ поставила, честь честию. „У меня, — говорить, — къ вамъ, дяденька Анисимъ и дяденька Карпъ, дѣло есть. Безпремѣнно хозяина моего надо убить!“ У меня глаза на лобъ и выѣзли. „Какъ, молъ, убить? Почто?“— „А по то, — говорить, — что узнаетъ онъ про барина, и мнѣ живой не быть, и васта со двора по шеѣ. Сдохнете съ голода!“— „Это, молъ, вѣрно!“—

„Вы ужь,—говорить,—въ моемъ дѣлѣ помогите, а я васъ не оставлю“. И по поясочку намъ подносить. „А по рубахѣ,—говорить,—за мной. Какъ вы мнѣ все по-хорошему сдѣлаете, и баринъ васъ не забудетъ“. Такъ и льстить, хвостомъ и мететь. „А не согласны, молъ, такъ я такого мужу про васъ наговорю, палкой со двора сгонить“. Баба льстивая, извѣстно,—можетъ. „А окромя того,—говорить,—какъ я къ барину вхожа и съ господиномъ становымъ завсегда въ кумпаніи, то можно васъ и насчетъ пачпортовъ пощупать. Какки-таки у васъ пачпорта пророчны, и на какомъ основаніи имѣете вы полное право жить?“

Ишь, куда подпустила, ишь! Тоже вшей-то кормить въ острогѣ никому неохота. Баба, знаемъ, могутная, со становымъ завсегда одна кумпанья, засудить! Что захочетъ, то съ тобой и сдѣлаетъ. Пошли это мы съ дядей Анисимомъ, меречаемъ. „Какъ, молъ, дядя Анисимъ. Ишь, какое дѣло!“ — „Тебѣ, молъ, виднѣе, дядя Карпъ, какъ и что“.



Арестантскіе типы.

— Ничего я про эти дѣла не знаю! упрямо, словно дятель въ то же мѣсто стукнулъ, отозвался Чернышовъ.

— „Не знаю!“ А ружье-то кто приносилъ? Ты же приносилъ! — огрызнулся Миловановъ.—Потужили мы съ дядей Анисимомъ, потужили, хозяина жалъ. Ну, да вѣдь изъ такого-то дома уходить нехотца. Куда мы пойдѣмъ, такіе-то? Кто насъ возьметъ? Да и къ дому привыкли, уходить жалъ. Собака, говорю, и та привыкаетъ. Потужили, потужили, къ хозяйкѣ приходимъ. „Ладно, молъ, сдѣлаемъ! Ты ужь потомъ, какъ знаешь!“ — „Это ужь,—говорить,—не



ваша забота. Вы только застрѣлите, а потомъ на кого другого подумаютъ. Я ужь сдѣлаю!" Известно, баринъ у ей, человѣкъ-деньга, опять же становой постоянно одна кумпанья. Что хотять, то и сдѣлають. И рѣшились.

— Такъ вы бы хозяйину-то лучше сказали, какое дѣло затѣвается. Вѣдь „ангелъ былъ человѣкъ“.

— Говорилъ! — махнулъ рукой Миловановъ. — Ничего не вышло. И вниманія не взялъ. Мнѣ хозяина-то было жалко. Удосужился, говорю: „Ты, молю, хозяинъ, поглядывай!“ — „А чего, — говорить, — мнѣ поглядывать?“ — „А такъ, молю, не вышло бы чего!“ — „А чего?“ — говорить. „А того, молю, поглядывать надоть!“ — „Шель бы ты, — говорить, — дядя Карпъ, мѣшки изъ сарая носить, ничѣмъ неизвѣстно что болтать, право!“ Такъ и вниманья не взялъ. Я свое сдѣлалъ, что полагается, я сказалъ, а ужь тамъ его было дѣло, какъ раздумать. А напрямки-то намъ тоже говорить не полагается. Мужнину — женину дѣло. Это ужь самъ разбери. Наше дѣло сказать. Такъ черезъ себя и погибъ человѣкъ! Пошелъ это послѣ полудня: „Я, — говорить, — въ сторожку заснуть пойду“. Въ дѣсу это сторожка была. „Дома, — говорить, — отъ мухъ безпокойно“. Я дядю Анисима и подтолкнулъ: „Да и намъ, молю, зѣвать не приходится!“ Пошелъ это дядя Анисимъ въ горницу, принесъ ружьишко.

— Ничего я про это дѣло не знаю!

— Не приносилъ, скажешь, ружья? Ахъ, хитрая душа — человѣкъ! Ахъ, хитрая! Экъ, языкомъ-то вертить! И туды и сюды, куды хочешь, повернеть! Ахъ ты, прости, Господи! — покачалъ Миловановъ головой въ высшей степени укоризненно. — Пошли мы съ дядей Анисимомъ къ сторожкѣ. Подобрались это тихохонько. Боязно. А ну, какъ встанетъ, да насъ лупить примется. „Посмотри, — говорю, — дядя Анисимъ, въ дверочку!“ — „Нѣтъ, — говорить, — ужь ты, дядюшка Карпъ, смотри!“ Совсѣмъ плохой мужикъ дядя Анисимъ. Такъ оплошалъ. Ывчъ хотѣлъ. „Ну, ужь это нѣтъ, — говорю, — братъ! Ужь вѣстѣ шли, и будь при этомъ!“ Дверка-то такъ пріотворена, глянулъ въ сторожку, дрыхнетъ хозяинъ, и таково дрыхнетъ, храпѣть, слюна вожжой, — поѣлъ человѣкъ, — мухи по всей рожѣ такъ и ползають, а онъ хоть бы что! „Въ самый, — думаю, — разъ“. Надѣлился такъ на него ружьемъ-то, а руки-то у меня холодеютъ. Чисто курей краль! И ружье-то прыгаетъ и прыгаетъ. „Не ладно, — думаю, — еще мимо дашь, только разбудишь. Ка-акъ встанетъ онъ да пойдетъ насъ же волтузить“. Сильный былъ человѣкъ, что мы, такіе-то, супротивъ него сдѣлаемъ. Яблонька

такъ росла, прислонился я къ яблонькѣ. „Дай, отдышусь!“ думаю. А дядя Анисимъ и вовсе наземь присѣлъ, стоять не можетъ. Отдышался, наставился, прямо въ голову, приложился этакъ... пу-у-у!

И голый Миловановъ принялъ такую позу, былъ такъ жалокъ, такъ смѣшонъ въ эту минуту, что всѣ не смогли, расхохотались. Да и онъ самъ расхохотался надъ собой.

— Пу-у-у! Хозяинъ-то и завизжалъ по-свинячьи и началъ крутиться, чисто выюнъ. А самъ-то визжить. Принялся я вдругорядь ружьишко заряжать. Дядя Анисимъ меня за руку, а самъ бѣлый: „Не стрѣлай,—говорить,—ради Господа Бога! Убѣжимъ! Страшно!“ говорить. „Нѣтъ ужъ, молъ, начато! Ужъ безъ того не уйду, не убивши“. Зарядилъ опять, нацѣлился, разъ! Тутъ ужъ хозяинъ и крутиться пересталъ. Только лежитъ —ойкаетъ. Поойкалъ, поойкалъ и кончился. Мы съ дядей Анисимомъ драла, да въ поле, да рожью цѣликомъ, вбѣжали на межу,—да ружье,—такъ поправѣй межи-то деревцо было,—подъ деревцомъ ямочку выкопали, ружье-то и зарыли.

— Полѣвѣй межи дерево было!—замѣтилъ дядя Анисимъ.

— Анъ, правѣе!

— Лѣвѣй, говорю!

— Анъ, поправѣе. Вотъ межа, а вотъ деревцо, какъ столъ, а вотъ отступя шага два...

И они вступили между собой въ безконечный споръ: гдѣ было деревцо, правѣй межи или лѣвѣй. Оба знали и помнили каждый кустикъ. Немного знали эти люди, но ужъ то, что знали, знали досконально.

Букашка такъ знаетъ листь, на которомъ она выросла и жить.

Узенькій кругозоръ у людей,—вершка полтора въ діаметрѣ,—но зато ужъ въ этомъ кружкѣ они всякую пылинку наизусть знаютъ и мало-мало за цѣлую гору считаютъ.

— Спрятали ружье въ ямочкѣ,—продолжалъ Миловановъ, когда кончился его побѣдой споръ о деревцѣ,—домой приходимъ. „Принимай, молъ, насъ, честная вдова!“ Услыхала это хозяйка, ровно холстина сдѣлалась, на скамейку такъ и сѣла. „Развѣ вы,—говорить,—его ужъ порѣшили!“—„Такъ, молъ, точно. Прикончили“. Залилась слезами. „Ахъ,—говорить,—зачѣмъ вы это сдѣлали?“—„Ну, ужъ, молъ, теперь не воротись. Теперь ты насъ уважать должна!“—„Пожалуйте,—говорить,—къ столу. Садитесь“. Полштофчикъ намъ поставила, изъ печки, что отъ обѣда осталось, достала. Сидимъ, водку пьемъ.

— Да ты, что жь, до водки, что ль, охочь?

— Злѣмъ? Нѣтъ! А только такъ ужь положено. Съ окончаніемъ дѣла. Плачетъ хозяйка-то. Извѣстно, жаль, мужъ. „Ты бы, молю, присѣла“. Поднесли ей водочки. „Ты, молю, тоже съ нами выпей. Что жь мы одни-то? Для кумпаньи“. Дала она намъ денегъ, три рубля бумажками, а на три четвертака мѣдью. И пошли мы спать, потому намаялись. А утромъ-то насъ и взяли.

— Какъ же случилось?

— Изъ мужиковъ кто-то шелъ, въ сторожку заглянулъ, а тамъ мертвое тѣло. Онъ содомъ и поднялъ. Кто мертвое тѣло? Мельникъ. Сейчасъ на насъ подозрѣніе и сдѣлали.

— Ну, и что жь вы?

— Дядя Анисимъ не въ сознаньи. А я вижу, стало-быть, что все стало извѣстно, и рассказалъ. Такъ и такъ, молю. Чего жь тутъ молчать? Извѣстно, другого кого бы взяли, молчалъ бы. А разъ меня самого взяли, стало-быть, все одно—молчи не молчи—подозрѣніе. Хозяйка-то больно вертѣлась. Къ барину. Да нешто барину такая паскуда нужна, изъ острога-то. Баринъ себѣ другую возьметъ, бабъ много. Становому сулила три года въ куфаркахъ служить безъ жалованья. Да нѣтъ, братъ, ничего не подѣлаешь. Ужъ больно, какъ я все рассказалъ, стало извѣстно. Такъ стало извѣстно, каждое слово всякъ знаетъ. Насъ и осудили. Какъ же! Всѣхъ вмѣстѣ судили. И хозяйку на одну скамейку посадили. А баринъ-то за нее другой заступался. Тоже, видать, она ему общалась въ куфарки пойтить безъ жалованья. Все на меня пальцемъ тыкалъ: „Вреть,—говорить,—все! Не вѣрьте ему, господа председатели!“ А я-то встаю да перекрестился: „Какъ,—говорю,—передъ Истиннымъ!“ Мнѣ и повѣрили. Да насъ всѣхъ и въ каторгу.

Черезъ нѣсколько дней захожу въ тюрьму, въ группѣ арестантовъ хохотъ. Что такое?

Миловановъ рассказываетъ, какъ онъ за 3 руб. 75 коп. своего „не хозяина, а ангела“ убивалъ. И рассказываетъ всякій разъ во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ, посмѣиваясь тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о вещахъ, по его мнѣнію, забавныхъ, какъ хозяинъ „визжалъ по-свиничьему“, рассказываетъ просто, спокойно, словно все это такъ и слѣдуетъ.

Какъ же это такъ, Миловановъ?— началъ я, въ видѣ опыта, какъ-то стыдить его.

Миловановъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ:

— Да вѣдь мы, ваше высокоблагородіе, люди слабосильные! Ежели бъ я сильный человѣкъ былъ, извѣстно бъ ушелъ. Потому

я вездѣ могу. А что жъ слабосильный сдѣлать можетъ. Его куда ткнутъ, онъ туда и идетъ. Слабосильный, одно слово!

— Нашли тоже съ кѣмъ, ваше высокоблагородіе, разговаривать: Нешто онъ что понимаетъ? У него и ума-то и всего иного прочаго въ умаленьи! Нешто ему обмозговать, на какое дѣло идетъ! — презрительно замѣтилъ про Милованова одинъ каторжанинъ, самъ убившій одну семью въ 6 душъ, другую—въ 5. Такъ, не человѣчишко даже, а четверть человѣка какая-то!

### Самоубійца.

— Опять бумагъ не переписаль, мерзавецъ? Опять? — кричалъ въ канцеляріи Рыковской тюрьмы смотритель К. на писаря-бродягу Иванова.

Онъ любилъ показать при мнѣ свою строгость и умѣніе „держать арестантовъ“.

— На кобылѣ не лежалъ, гадъ? Разложу! Ты, братъ, меня знаешь! Не знаешь, у другихъ спроси. Ты у меня на кобылѣ жизнь проклянешь, мерзавецъ! Взялъ негодя въ канцелярію, а онъ... Въ кандальную запру, на парашу, въ грязи сгниешь, гадина!

Бродяга Ивановъ, безусый, безбородый юноша, сидѣлъ съ блѣднымъ лицомъ и синими дрожащими губами и писалъ.

— Нельзя иначе съ этими мерзавцами! — пояснилъ мнѣ К., когда мы шли изъ канцеляріи. — Я ихъ держать умѣю! Они меня знаютъ, мои правила. Не скажу слова, а ужъ сказалъ, вѣрно, будетъ сдѣлано.

Вечеромъ я пелъ въ семьѣ К. чай, какъ вдругъ прибѣжалъ надзиратель:

— Самоубийство!

— Какъ? Что? Гдѣ?

— Въ канцелярії самоубийство. Писарь Ивановъ, бродяга, застрѣлился.

Мы съ К. побѣжали въ канцелярію. Иванова ужъ не было.

— Въ лазаретъ потащили!

Рядомъ съ канцеляріей, въ маленькой надзирательской, пахло порохомъ, на лавкѣ и на полу было немножко крови. На столѣ лежалъ револьверъ.

— Чей револьверъ?

— Мой! — съ виноватымъ видомъ выступилъ одинъ изъ надзирателей.

— Подъ судъ тебя, мерзавца, отдать! Подъ судъ!—затопалъ ногами К.—Въ послѣдственное тебя сейчасъ посадить велю!

— Винавать, не доглядѣлъ!..

— Надзиратель, мерзавецъ! Револьверы по столамъ у него валяются!

— Только на минутку отлучился, а онъ въ каморку зашелъ, да и бацъ.

— Всѣхъ подъ судъ унеку, подлецы!

— Записку вотъ оставилъ!—доложилъ одинъ изъ писарей.

На восьмушкѣ бумаги карандашомъ было написано:.

— „Прошу въ моей смерти никого не винить. стрѣляюсь по собственному желанію.

1) „Во всемъ разочарованъ.

2) „Меня не понимаютъ.

3) „Прошу написать такой-то (указанъ подробный адресъ въ Ревель), что умираю, любя одну только ее.

4) „Тѣла моего не вскрывать, а если хотите, подвергните кремации. Пожалуйста!

5) „Прошу отслужить молебень Господу Богу, Котораго не признаю разумомъ, но вѣрю всей душой.

„Бродяга Ивановъ“.

— Мерзавецъ!—заклучилъ К.—Пишите протоколъ.

— Живъ, можетъ-быть, останется!—объявилъ пришедшій докторъ.—Пуля не задѣла сердца. А здорово!

— Не мерзавецъ? — возмущался К. — А? Этакую штуку удрать! У надзирателя револьверъ взять!.. Ты, тетеря, ежели ты мнѣ еще будешь револьверы разбрасывать... Въ оба смотри! Вѣдь народъ кругомъ. Пишите протоколъ, что тайно ~~схвативъ~~ револьверъ...

Онъ принялся диктовать протоколъ.

Писаря въ канцеляріи были смущены, ходили какъ потерянные, надзиратели ругались:

— Чуть въ бѣду изъ-за васъ, изъ-за чертей, не попали!

Смотритель, когда докторъ ему сказалъ, что Ивановъ поправляется, крикнулъ:

— Знать про мерзавца не хочу

И безпрестанно повторялъ:

— Скажите, пожалуйста, какія вѣжности! Стрѣляться, мерзавецъ!

Докторъ говорилъ мнѣ, что писаря каждый день ходятъ справляться въ лазаретъ объ Ивановѣ:



— Мальчишъ-то, — говорятъ, — ужъ очень хорошій.

Я увидѣлъ Иванова, когда онъ ужъ поправился. Докторъ предложилъ мнѣ:

— Зайдемъ!

— А я его обезпкою?

— Нѣтъ, ничего. Онъ будетъ радъ. Я ему говорилъ, что вы о немъ справляетесь. Онъ спросилъ: „Неужели?“ Ему это было пріятно. Зайдемъ.

Ивановъ лежалъ, исхудалый, желтый, какъ воскъ, съ бѣлыми губами, съ глубоко провалившимися, окруженными черной каймой глазами.

Я взялъ его худую, еле теплую, маленькую руку.

— Здравствуйте, Ивановъ! Ну, какъ? Поправляетесь?

— Благодарю васъ! — тихимъ голосомъ заговорилъ онъ, пожимая мнѣ руку. — Очень благодарю васъ, что зашли!..

Я сѣлъ около.

— Вы, значить, меня не презираете? — спросилъ вдругъ Ивановъ.

— Какъ? За что? Господь съ вами!

— А тогда... въ канцеляріи... смотритель... „Подлецъ“... „Мерзавецъ“... „Гадъ“... Про кобылу говорилъ... Господи, при постороннемъ-то!

Ивановъ заволновался.

— Не волнуйтесь вы, не волнуйтесь... Ну, за что жъ я васъ буду презирать? Скорѣе его.

— Его?

Ивановъ посмотрѣлъ на меня удивленно и недовѣрчиво.

— Ну, конечно же, его! Онъ ругался надъ беззащитнымъ.

— Его же? Его? — у Иванова было радостное лицо, на глазахъ слезы. — А я вѣдь... я... я не то думалъ... я ужъ думалъ, что ужъ — что жъ я... Такъ ужъ меня... что жъ я теперь... самыми послѣдними словами... на кобылу!.. Какой же я человѣкъ.

Онъ заплакалъ.

— Ивановъ, перестаньте. Рядно вамъ! — уговаривали мы съ докторомъ. — Не огорчайтесь пустяками!

— Вѣдь нѣтъ... ничего... это такъ... это не отъ горя...

Онъ плакалъ и бормоталъ:

— А я... я... хотя и мало учился... а книжки читалъ... самъ читалъ... я человѣкъ все-таки образованный.

Вѣдняя, онъ и „кремацию“ ввернулъ въ предсмертную записку, вѣроятно, чтобы показать, что онъ человѣкъ образованный.

И лежалъ передо мной мальчикъ, самолюбивый, плакавшій мальчикъ, а онъ въ каторгѣ.

— У мерзавца были? - встрѣтился со мной у лазарета К. — Вотъ поправится, я въ кандалную его за эти фокусы!

### Оголтѣлые.

— Ну, не подлецы? Не подлецы? А? Ну, что съ этимъ народомъ дѣлать? Ну, что съ нимъ дѣлать? — взволнованно говорил старикъ-смотритель поселеній въ Рыковскомъ.

— Да что случилось?

— Повимаєте, опять двухъ человекъ убили. Хотите, идемъ вмѣстѣ на слѣдствіе.

Дорогой онъ разсказалъ подробности.

Два поселенца — „половинщики“, жившіе вмѣстѣ „для совместнаго домообзаводства“, т.-е. въ одной хатѣ, убили двоихъ зашедшихъ къ нимъ переночевать бродягъ.

Убили, вѣроятно, ночью, когда тѣ спали. А на утро разрубили трупы на части, затопили печку и хотѣли сжечь трупы.

— Хотя бы прятались, канальи! — возмущался смотритель поселеній. — А то двери настежь, окна настежь, словно самое обыкновенное дѣло дѣлають. Вѣдь вотъ до чего оголтѣлость дошла! Дѣвчонка ихъ и накрыла. Сосѣдская дѣвчонка. Зашла зачѣмъ-то къ нимъ въ хату. Смотрить, вся хата въ кровинцѣ, а около печки какое-то мѣсиво лежитъ, и они тутъ сидятъ, около печки, жгутъ. Не черти? Ну, заорала благимъ матомъ, сосѣди собрались! Тутъ ихъ за залятіемъ и накрыли. И не запирались, говорятъ.

Въ мертвецкой, посрединѣ на столѣ, лежала грудa мяса. Руки, ступни, мякоть, изъ которой торчали раздробленные кости. И пахло отъ этой груды свѣжей говядиной.

Этотъ говяжій запахъ, наполнявшій мертвецкую, словно мясную лавку, былъ страшнѣе всего.

Между кусками выглядывало замазанное кровью лицо съ раскрытымъ ртомъ.

— Другая голова вотъ здѣсь! — пояснилъ надзиратель, безразлично указывая на какую-то мочалку, густо вымазанную въ крови.

Голова лежала лицомъ внизъ, это былъ затылокъ.

Въ дверь съ ужасомъ и любопытствомъ смотрѣли на грудy мяса ребятишки.

— Ахъ, подлецы! Ахъ, подлецы! — качалъ головой смотритель поселеній. — Пишите протоколъ! Идемъ на допросъ.

Въ то время слѣдователей на Сахалинѣ не было, и слѣдствіе пренебрежительно вели гг. служащіе.

Передъ канцеляріей смотрителя поселеній стояла толпа любопытныхъ. Въ канцеляріи стояли два поселенца среднихъ лѣтъ, со связанными назадъ руками, съ тупыми, равнодушными лицами. Оба были съ ногъ до головы вымазаны въ крови.

— Ваше высокоблагородіе, явите начальническую милость, отпустите домой! — взмолились они.

Смотритель поселеній только дико посмотрѣлъ на нихъ.

— Какъ домой?..

— Знамо, домой! Вѣдь что же это такое? Руки скрутили, сюда привели, домъ распертъ. Вѣдь тоже, чай, домообзаводство есть. Немного хочъ, а есть. Старались, теперь разворачиваютъ. Дозвольте домой.

— Да вы ополоумѣли, что ли, чертя?

— Ничего не ополоумѣли, дѣло говоримъ! Чего тамъ!

— Молчать! Развязать имъ руки, вывести на дворъ, пусть хари-то хоть вымоютъ. Глядѣть страшно. Вымазались, дьяволы!

— Вымажешься!

Черезъ нѣсколько минутъ ихъ ввели обратно, умытыхъ: хотя на лицахъ и рукахъ-то не было крови.

— Пиши протоколъ допроса! — распорядился писарю смотритель поселеній.

— Чего тамъ допросъ? Какой допросъ? Пиши просто: убили. Все одно, не отвертѣшься, вертѣться нечего. Тамъ домъ разворачиваютъ, а они допросъ!

— Съ грабежомъ убійство?

— Съ грабежомъ! — презрительно фыркнулъ одинъ изъ поселенцевъ. — Тоже грабежъ! 40 копеекъ взяли.

— Сколько при нихъ найдено денегъ?

— Сорокъ четыре копейки! — отвѣчалъ надзиратель.

— Изъ-за 40 копеекъ загубили двѣ души? — всплеснулъ руками смотритель поселеній.

— А кто жъ ихъ зналъ, души-то эти самыя, сколько при нихъ денегъ! Пришли двое незнакомыхъ людей, невѣдомо отколь. „Пусти переночевать“, просятъ. По семитѣ заплатили. „А на постоянный намъ, говорятъ, не расчетъ“. Думали, фартовый какой народъ, и пришили. А стали шарить, только 40 копеекъ и нашарили. Вотъ и весь грабежъ. Отпусти, слышь, домой. Яви начальническую милость. Что жъ, изъ-за сорока копеекъ дому, что ль, погибать? Все немного, а глядишь, на десятокъ рублей наберется! Растащать вѣдь!

— Отвести ихъ пока въ одиночку!

— Изъ-за сорока-то копеекъ въ одиночку. Тфу ты! Господи! Поселенцы, видимо, „озоровали“.

— Хучь четыре копейки-то отдайте! За ночлегъ вѣдь плачено!

— На казенный паекъ попали! — посмѣивались въ толпѣ другіе поселенцы.

— А то что жь! Съ голоду, что ль, на волѣ пухнуть? — отвѣчала одинъ изъ убійць.

Другой шелъ слѣдомъ за нимъ и ругался:

— Ну, порядки!

— Ну-съ, идемъ на мѣсто совершенія преступленія.

У избѣ, гдѣ было совершено убійство, стояли сторожа изъ поселенцевъ. Но вытащено было, дѣйствительно, все. Въ избѣ ни дошки ни плошки. Все вычищено.

— Охъ, достанется вамъ! — потрозилъ на сторожей смотритель поселеній.

— Дозвольте объяснить, за что, ваше высокоблагородіе? Помните, нешто можетъ что у поселенца существовать? Голь, да и только. Опять же, какъ спервоначалу народъ обѣждался, сторожей еще приставлено не было; извѣстно, чужое добро, всякъ норовить, что стащить!

Избенка была маленькая, конечно, безъ всякихъ службъ, покривившаяся, покосившаяся, наскоро сколоченная, какъ наскоро „для проформы“ сколачиваются на Сахалинѣ обязательныя „домообзаводства“.

Воняло, полъ былъ липкій, сырой, на скамьяхъ были зеленныя пятна. Всюду не высохшая еще кровь.

Въ углу маленькая печурка, около которой еще стояла лужа крови. Устье — крохотное.

— Вѣдь это имъ до вечера пришлось бы жечь! — сказалъ начальникъ поселеній, заглядывая въ печку.

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе, одну руку только обжечь успѣли. Такъ обуглилась еще только! — подтвердилъ надзиратель. — Безпремѣнно бы весь день жгли.

— Не оголтѣлость, я васъ спрашиваю? Не оголтѣлость? — въ ужасѣ взывала смотритель поселеній. — Пищи протоколъ осмотра!

## Интеллигентъ.

— Позвольте-съ! Позвольте-съ! Господинъ, позвольте-съ, — догналъ меня въ Дербинскомъ пьяный человѣкъ, оборванный, грязный до невѣроятія, съ синякомъ подъ глазомъ, разбитой и опухшей

губой. Шаговъ на пять отъ него разило перегаромъ. Онъ заградилъ мнѣ дорогу.

— Господи-писатель, позвольте-съ. Потому какъ вы теперь матеріаловъ ищете и біографіи ссыльно-каторжныхъ пишете, такъ вѣдь мою біографію, плакать надо, ежели слушать. Вы нравственные обязательства, дозвоьте васъ спросить, признаете? Очень пріятно! Но разъ вы признаете нравственные обязательства, вы обязаны меня удостоить бесѣдой и все прочее. Вѣдь это-съ человѣческій документъ, такъ сказать, передъ вами. Землемѣръ. Мы вѣдь тоже что-нибудь понимаемъ. Парла въ франса? Вуй? И я. И еще, можетъ-быть, когда вы клопомъ были, въ народъ ходилъ-съ. И вдругъ ссыльно-каторжный! Позвольте, какимъ манеромъ? И всякій меня выпоротъ можетъ. Справедливо-съ?

— Да вы за что же сюда-то попали?

— Вотъ въ этомъ-то и дѣло. Это вы и должны прочувствовать. „Не убій“, говорить. А что я долженъ дѣлать, если я свою жену, любимую, лѣбимую, — онъ заколотилъ себя кулакомъ въ грудь, и изъ глазъ его полились пьяныя слезы, — любимую, понимаете ли, жену съ любовникомъ на мѣстѣ самаго преступленія засталъ. По французскому закону, — „туэ-ля!“ — и конечно дѣло. Позвольте-съ, это на театрѣ представляютъ, великій сердцевѣдъ Шекспиръ и Отелло, венеціанскій мавръ, и вся публика рукоплещетъ, а меня въ каторгу. Въ каторгу? Гдѣ же справедли-



Арестантскіе типы.



вость, я васъ спрашиваю? И вдругъ меня сейчасъ на кобылу: зачѣмъ фальшивыя ассигнаціи дѣлаешь?

— Позвольте, да васъ за что же сюда сослали: за убійство жены или за фальшивыя ассигнаціи?

— Въ этомъ-то все и дѣло. Жена сначала, а ассигнаціи потомъ. Ассигнаціи, это ужъ съ отчаянія. Позвольте-съ! Какъ же мнѣ ассигнаціи не дѣлать? А позвольте васъ спросить, съ чего я водку буду пить, безъ ассигнацій ежели? Долженъ я водку пить при такой биографіи или нѣтъ? Я долженъ водку безпремѣнно пить, потому что у меня рука срывается. Вы понимаете, срывается! Сейчасъ я хочу веревку за гвоздь, и рука срывается.

— Да зачѣмъ же вамъ веревку за гвоздь?

— Удаться. Я долженъ удавиться, и у меня рука срывается. Я говорю себѣ: „Подлецъ!“ и долженъ сейчасъ водку пить. Потому я въ бѣлой горячкѣ долженъ быть. Вы понимаете бѣлую горячку? *Delirium tremens!* Какъ интеллигентный человѣкъ! Потому сейчасъ самоанализъ и все прочее. У меня самоанализъ, а меня на кобылу. Можетъ мнѣ смотритель сказать, что такое Бокль, и что такое цивилизація и что такое Англія? Я „Исторію цивилизаціи Англіи“ читалъ, а меня на кобылу. Я Достоевскимъ хотѣлъ быть! Достоевскимъ! Я въ каторгѣ свою миссію видѣлъ. Да-съ! Я записки хотѣлъ писать. И все разорвано. А почему разорвано? Отъ смиренія духомъ. Я сейчасъ себя посланникомъ отъ ея величества госпожи цивилизаціи счелъ, и въ пароходномъ трюмѣ безграмотному народу бесплатно прошенія сталъ писать. И вдругъ меня убить хотять! Потому что какой-то бродяга Иванъ, обратникъ, имъ сейчасъ прошенія къ министру финансовъ и къ петербургскому митрополиту поресмотрѣ дѣла пишетъ, а по рублю за прошеніе беретъ, а я отказываюсь, потому что глупо. Глупо и невѣжественно. „Ахъ, говорятъ, ты такъ-то. Ты народъ губить? Куда слѣдуетъ, прошенія писать не хочешь? Иванъ къ митрополиту, а ты не желаешь?“ И Иванъ сейчасъ науськиваетъ, потому что практику отбиваю. „Бей его! Бей на-смерть! Онъ нарочно, куда слѣдуетъ, прошеній не пишетъ. Съ начальствомъ заодно. Онъ себѣ въ бумаги вписываетъ, и какъ водку пьемъ и какъ въ карты играемъ, чтобы потомъ начальству все открыть“. И вдругъ мнѣ ночью накрываютъ темную и хотять убить и записки мои рвутъ, и потомъ начальству говорятъ всѣмъ трюмомъ: „Онъ воруетъ“. А пароходный капитанъ: „Я тебя выпорю!“ говоритъ. Позвольте-съ! Вы можете знать, о чемъ я думаю? Я сейчасъ здѣсь, въ тюрьмѣ, сижу, мнѣ темную дѣлаютъ, а мой оскорбитель на судъ въ перстняхъ является, и невѣста въ

публикѣ. И его сейчасъ дамы лорнируютъ. И онъ благороднаго рыцаря играетъ. „Ничего, говорить, подобнаго!“ Развѣ возможно въ своихъ связяхъ съ порядочной женщиной признаваться? Бла-ародно! И вся публика говоритъ: „Бла-ародно!“ Позвольте-съ. И онъ сейчасъ свой очагъ имѣетъ, и жену, и неприкосновеннымъ очагъ считаетъ. Свой-то, свой. А мой осквернилъ? И ничего? Его не въ каторгу, а меня въ каторгу? Справедливо-съ? Году покойницѣ не вышло, и у него невѣста. Годъ бы, подлецъ, подождать! Плачу-съ! Плачу — и не стыжусь! И опять ложный доносъ напишу и стыдиться не буду. И опять! Что г. смотритель поселеній вамъ жаловался, что я ложный доносъ на него написалъ? Вѣрно! И опять напишу, потому что 20 копеекъ. Желаете, вамъ ложный доносъ напишу? На кого желаете? 20 копеекъ — и доносъ! И дерите! Дерите! Желаете драть, — дерите!

Онъ началъ разстегиваться.

— Пойдите, пойдите, Богъ съ вами! Опомнитесь!

— Не желаете? Не надо. А можетъ-быть, господинъ свободнаго состоянія, желаете? Такъ дерите! Не желаете? Упрашивать не буду, потому что лишенный всѣхъ правъ состоянія. Да вы образованія меня лишить можете? Духа моего интеллигентнаго лишить можете? Развѣ онъ меня поретъ? Всѣхъ поретъ, кто во мнѣ заключается. Съ Боклемъ, и со Спенсеромъ, и съ Шекспиромъ на кобылу ложусь, и съ Боклемъ, и со Спенсеромъ, и съ Шекспиромъ меня смотритель поретъ! Съ Боклемъ! И вдругъ предписаніе: „Переслать его съ попутнымъ быкомъ въ селенье Дербинское“. И я съ быкомъ. Какъ я долженъ съ быкомъ разговаривать? Какъ съ товарищемъ? Онъ, значить, скотъ, и я, значить, скотъ! Лишить правъ можете, но вѣдь не до такой же степени! Съ быкомъ. И на кобылу и розгами, розгами. Встала бы покойница, посмотрѣла бы. Ахъ, какъ бы ручками всплеснула! Въ перчаточкахъ! „Ахъ, кель-орраръ, дерутъ его, какъ Сидорову козу. Ахъ, какъ просто!“ Это у нея любимое слово было: „Просто“. — „Ахъ, — скажетъ, — это платье. Это просто какъ-то“. Мужу измѣнять, — а его дерутъ, дерутъ! А? Какому мужу? Ко дню ангела браслетъ подарилъ.

Онъ вдругъ заоралъ благимъ матомъ:

— Сафиры! Брильянты! Голконда! Горѣлъ!

И заплакалъ.

— На службѣ завтракать бросилъ. Курить пересталъ. Годъ копилъ цѣлый. Копейку къ копейкѣ. Все по частямъ въ магазинъ носилъ: „Не продавайте!“ Дома зимой въ кителѣ ходилъ, чтобы сюртукъ не носился. По той же причинѣ въ комнатахъ снималъ

сапоги и ходилъ въ туфляхъ. Казначей задолжалъ. И принесъ! Въ самый день ангела Раньше всталъ и на цыпочкахъ. И на ночномъ столикѣ. Раскрылъ и поставилъ. И штору отдернулъ, чтобы лучъ солнца. Игра! Сижу, жду: что будетъ? Не дышу. И начала жмуриться, и глаза открыла, и вдругъ крикъ: „А-а!“

Онъ схватился за голову, и на лицѣ его отразилась мука жесточайшая.



Арестантскіе типы.

— И въ этомъ же браслетѣ засталъ! И всѣ кругомъ столькобѣ смѣялись, только я одинъ, дуралей, серьезный былъ. Ха-ха-ха! Такъ вотъ же вамъ! Я одинъ хохотать буду, а вы всѣ кругомъ будете въ ужасѣ. И вдругъ долженъ писать прошеніе за безграмотствомъ поселенца такого-то; прошу выдать для нужды домообзаводства изъ казны корову и бабу. А! Корову и бабу. Бабу и корову. А я сотворилъ себѣ кумиръ. Что есть

женщина? Генрихъ Гейне сказалъ: „Богъ создалъ ее въ минуту вдохновенья!“ Жрать не надо, — чулочки ей шелковые, чтобы любовнику пріятнѣе ноги цѣловать было. Женщинѣ вѣдь непременно ноги цѣловать надо! На колѣняхъ передъ ней! На полу! На землѣ передъ ней! Во прахъ! А тутъ корова и баба. Дайте мнѣ 20 копеекъ... Что такое? Рубль? Благородно. Понимаю. Истинно. Все, значить, какъ есть, появля: въ каторгу — и рубль ему и совѣсть чиста. Руку! Какъ интеллигентъ интеллигенту говорю: „Спасибо“. Просто и кратко! „Спасибо“.

## Поэты-убійцы.

### I.

Пашенко, — это его бродяжеское имя, — былъ ужасомъ всего Сахалина.

Когда Пашенко убили, этому обрадовалась прежде всего каторга. За Пашенко числилось 32 убійства.

Онъ многократно бѣгалъ, и когда его нужно было „уличить“, сообщая изъ Одессы на Сахалинъ примѣты Пашенко, писавшіе начальники тюрьмы и надзиратели добавляли:

— Только не говорите Пашенкѣ, что свѣдѣнія сообщили мы.

Придетъ и убьетъ.

Таково было страшное обаяніе его имени.

Среди всѣхъ кандалниковъ Александровской тюрьмы Пашенко нашелъ себѣ только одного „человѣка по душѣ“, такого же „тачечника“, т.-е. приговореннаго къ прикованью къ тачкѣ, какъ и онъ, Широколобова.

Широколобовъ—второй ужасъ всего Сахалина и Восточной Сибири. Кандалные сторонились отъ него, какъ отъ „звѣря“.

Широколобовъ былъ сосланъ изъ Восточной Сибири за многократныя убійства.

Широколобовъ — сынъ каторжныхъ родителей, сосланныхъ за убійства и поженившихся на каторгѣ. На портретѣ передъ вами (см. т. I, стр. 181) тупое и дѣйствительно звѣрское лицо.

Онъ попался на убійствѣ вдовы-дьяконицы. Желая узнать, гдѣ спрятаны деньги, Широколобовъ пыталъ свою жертву. Отрѣзалъ ей уши, носъ, медленно, по кусочкамъ, рѣзалъ груди. Широколобова привезли на Сахалинъ на пароходѣ „Байкалъ“ прикованнымъ желѣзнымъ обручемъ, за поясъ, къ мачтѣ.

Это былъ единственный человѣкъ, съ которымъ нашелъ возможнымъ подружиться въ тюрьмѣ Пашенко. Вмѣстѣ они и отковались отъ тачекъ и совершили побѣгъ, разломавъ въ тюрьмѣ печку.

Они ушли въ ближайшій рудникъ и скрылись тамъ. Каторжане и поселенцы должны были таскать имъ туда пищу.

Должны были, потому что иначе Пашенко и Широколобовъ вышли бы и натворили ужасовъ.

Но ихъ мѣстопребываніе было открыто.

На деревѣ, около входа въ одну изъ штоленъ, почему-то болталась тряпка. Это показалось страннымъ начальству. Не примѣта ли?

Была устроена облава, но предупрежденные Пашенко и Широколовы ушли и перебрались въ дальній Владимирскій рудникъ.

Тамъ они скрывались точно такъ же.

Однажды, передъ вечеромъ, надзиратель изъ бывшихъ каторжанъ, к-вказецъ Кононбековъ, вышелъ съ ружьемъ, какъ онъ говоритъ: „поохотиться, нѣтъ ли бѣглыхъ“.

Идя по горѣ, онъ услышалъ внизу въ кустахъ шорохъ. Это Пашенко и Широколовы вышли изъ горы.

Кононбекъ приложился, выстрѣлилъ на шорохъ. Въ кустахъ раздался крикъ. Какая-то тѣнь мелькнула изъ кустовъ.

Кононбековъ бросился въ кусты. Тамъ лежалъ при послѣднемъ издыханіи Пашенко. Пуля угодила ему въ темя и пробила голову. Пашенко „подергался“, какъ говоритъ Кононбековъ, и умеръ. Широколовы бѣжали.

Все, что было найдено при Пашенко, это его „бродяжеская записная книжка“, лежавшая въ карманѣ и теперь залитая его кровью.

Потомъ эта книжка была передала мнѣ.

Пашенко былъ высокій, статный, красивый мужикъ, лѣтъ 45, съ большой окладистой бородой, спокойнымъ, холоднымъ, „строгимъ“ взглядомъ сѣрыхъ глазъ.

Все, что осталось отъ этого страшнаго человѣка,—книжка.

Въ нее безграмотными каракулями Пашенко вписывалъ то, что ему было нужно, что его интересовало, къ чему лежала его душа,—все самое для него необходимое.

Въ ней заключается бродяжескій календарь съ 25 августа, когда Пашенко ушелъ. Пашенко зачеркивалъ проходившіе дни. Послѣднимъ зачеркнуто 30 сентября. 1 октября онъ былъ убитъ.

Затѣмъ идетъ:

— „Маршрутъ. Отъ Срѣтенска Шилкино —97 верстъ, Усть-Кара—115“ и т. д.

Затѣмъ идетъ нѣсколько какихъ-то адресовъ:

— „Иванъ Васильевичъ Черкашевъ, на Новомъ базарѣ, лавочка; Никита Яковлевичъ Турецкій, уголь Гусьевской и Зейской, собственный домъ“ и т. д.

Люди ли, у которыхъ можно остановиться, или намѣченные мѣста, гдѣ можно „поработать“.

Затѣмъ идутъ, на первый взглядъ, странныя, но въ тюрьмѣ очень необходимыя свѣдѣнія:

— „Посредствомъ гипнотизма можно повелѣвать чужимъ умомъ, т.-е. мозгомъ“.





Пашенко.

— „Затменье солнца 28 июля 1896 года“.

Списокъ всѣхъ министерствъ.

— „Въ Россіи монастырей 497: мужскихъ 269, женскихъ 228“.

— „Швеція и Норвегія—два государства, подѣ влияніемъ одного короля. Занимаетъ „Скандинавскій“ полуостровъ. 5 милліоновъ жителей. Столица Швеціи—городъ Стокгольмъ и Норвегіи—„Христианія“.

Также описаны всѣ европейскія государства, какой городъ столичный, и гдѣ сколько жителей.

Далѣе идутъ свѣдѣнія о „китайской вѣрѣ“.

— „Фво, китайскій богъ, рождался 8.000 разъ по-ихнему суетвѣрію. Акангъ-Белль—богъ меньшій, т.-е. малый богъ, низшаго неба. Чупъ“.

Свѣдѣнія, казалось бы, бесполезныя, но нужныя, прямо необходимыя для человѣка, который хочетъ играть „роль“ въ тюрьмѣ.

Тюрьма, какъ и все русское простонародье, очень цѣнитъ „точное знаніе“.

Именно точное.

— Сколько въ Бельгіи народу?

— Пять съ половиной милліоновъ.

Именно „съ половиной“. Это-то и придаетъ солидность знанію.

Народъ—мечтатель, народъ не утилитаристъ, народъ нашъ, а съ нимъ и тюрьма, съ особымъ почтеніемъ относятся къ знанію не чего-нибудь житейскаго, повседневнаго, необходимаго, а именно къ знанію чего-нибудь совершенно ненужнаго, къ жизни непримѣнимаго. И, кажется, чѣмъ бесполезнѣе знаніе, тѣмъ большимъ оно пользуется почтеніемъ. Это-то и есть настоящая „мудрость“.

Вращаясь среди каторжанъ, вы часто нарываетесь на такіе вопросы:

— А сколько, ваше высокоблагородіе, на свѣтѣ огнедышащихъ горъ, то-есть вулкановъ?

— Да тебѣ-то зачѣмъ?

— Такъ, знать желательно. Потому, какъ вы ученый.

— Ей-Богу, не знаю.

— Огнедышащихъ горъ, то-есть вулкановъ, на свѣтѣ 48.

Потомъ, одинъ на одинъ, вы можете сказать ему:

— Все-то ты, братецъ мой, врешь. Кто ихъ всѣ считалъ?

Но при тюрьмѣ остерегитесь. Дайте ему торжествовать. На этомъ покоится уваженіе къ нему тюрьмы, на его знаніяхъ, и теперь, когда онъ даже ученаго барина зашибъ, уваженіе къ нему еще болѣе вырастаетъ. Не бросайте же его подъ ноги этимъ людямъ, которые, какъ и всѣ, терпятъ, но не любятъ чужого превосходства.

Среди всѣхъ этихъ необходимыхъ, чтобы играть въ тюрьмѣ роль, свѣдѣній разбросаны стихи.

По словамъ каторжанъ, покойный Пащенко очень любилъ стихи, и тѣ, которые ему приходились по душѣ, записывалъ.



Широколобовъ Федоръ (безъ срока).

Что же это была за поэтическая душа, которая жила въ члвкѣ, совершившемъ 32 убійства?

Убійца любилъ только жалостные стихи. Полные грусти и жалобъ.

Жалобъ на судьбу, на несовершенства человѣческой природы:

„Подсѣжу жъ я крылья  
Деракому сомнѣнью,  
Прокляну усилья  
Къ тайнамъ провидѣнья...  
Умъ шагъ не шагаетъ  
Міра за границу,  
Наобумъ мѣшаетъ  
Съ былью небывицу“.

Этотъ фаустовскій мотивъ смѣняется жалобою на несправедливость, царящую въ мірѣ:

„Мелкія причины  
Тѣшилися людьми,  
Карлы — властелины  
Двигали мірами.  
Райскія долины  
Кровью обливались,  
Неба властелины  
Въ бездну низвергались“.

Поляные жалобъ Кольцовскіе стихи больше всего приходятся ему по сердцу, и онъ списываетъ ихъ въ книжку.

Какъ всякій „настоящій преступникъ“, онъ жалуется на все и на вся, кромѣ себя, — и ему приходится особенно по душѣ такое стихотвореніе:

„Вы вновь пришли, друзья и братья,  
Съ мольбой: „Прости и позабуди“,  
И вновь сжимается въ объятъя  
Отъ ласкъ отвыкнувшая грудь.  
Но гдѣ же были вы въ то время,  
Когда я былъ и нагъ и босъ,  
Когда на слабыхъ плечахъ бремя  
Работы каторжной я несъ?  
Гдѣ были вы, когда печали,  
Какъ злые коршуны во тьмѣ,  
На части сердце разрывали  
Въ безлюдной, страшной тишинѣ?  
Гдѣ были вы, когда въ смущеньѣ  
Я выступалъ на новый путь,  
Когда нуждалась въ ободреньѣ,  
Какъ нищій въ хлѣбѣ, эта грудь?  
Гдѣ были вы, когда чрезъ мѣру  
Я настрадался отъ враговъ,  
И, наконецъ, утратилъ вѣру  
Въ святую братскую любовь?“

Это стихотвореніе такъ понравилось Пашенкѣ, что онъ и самъ подъ нимъ подписался: поставилъ букву „Ф.“ — инициалъ своей настоящей, не бродяжеской, фамиліи.

И только одно бодрое стихотворение, дышащее презрѣньемъ къ людямъ, быть-можетъ, за это-то презрѣніе и поправилось Пашенкинъ:

„Не бойся жизненныхъ угрозъ,  
Не надрывай напрасно груди,  
Не проливай напрасно слезъ,  
Ихъ осмѣютъ надменно люди.  
Не бойся нужды, не бойся бѣды,  
Не бойся тяжелой, скорбной доли,  
Оноси людское зло и вредъ,  
Не поклоняй своей ты воли,  
Навстрѣчу разныхъ неудачъ,—  
Борись съ судьбой во что бы ни стало  
Не падай духомъ и не плачь,  
Въ уныніи толку, другъ мой, мало“...

Такіе стихи записаны въ маленькой, залитой кровью, записной книжкѣ человѣка, который любилъ поэзію и убилъ 32 человѣка.

Такіе стихи отвѣчали мотивамъ, звучащимъ въ его душѣ.

Такіе стихи онъ читалъ и перечитывалъ, отдыхая отъ однихъ убійствъ и готовясь къ другимъ.

Развѣ онъ не обладалъ поэтической душой?

## II.

Поэтъ-убійца, П—въ—поэтъ-декадентъ. Хотя этотъ малограмотный человѣкъ, конечно, никогда и не слыхалъ о существованіи на свѣтѣ декадентовъ.

Среди массы стихотвореній, переданныхъ имъ мнѣ, часто странныхъ по формѣ, попадаются такіа сравненія. Онъ пишетъ:

„Куда бѣжишь и что найдешь ты въ блѣдномъ сердцѣ,  
Когда багровыя отъ крови мысли  
Зелеными глазами поглядятъ?

Съ П—вымъ я познакомился на Сахалинѣ, въ сумасшедшемъ домѣ, гдѣ онъ содержится.

Онъ не то чтобы сумасшедшій въ общепринятомъ смыслѣ слова. Онъ отъ природы таковъ: онъ боленъ moral insanity. Оставаясь на свободѣ, онъ совершалъ безпрестанно массу преступленій, всегда гнусныхъ, скверныхъ, часто говорившихъ объ удивительной извращенности натуры.

П—ву лѣтъ подлѣ сорокъ.

Предметъ его ненависти—прекуроръ, который обвинялъ его въ первый разъ,



Онъ не можетъ хладнокровно вспомнить объ этомъ прокурорѣ, не можетъ ему простить выраженія:

— Ломбровозскій типъ.

А между тѣмъ П—въ могъ бы служить прямо украшеніемъ извѣстнаго атласа Ломброзо.

Торчація уши совершенно безъ мочекъ. Удивительно ярко выраженная асимметрія лица. Глаза различной величины и неровно посажены,—одинъ выше, другой ниже. Носъ, губы,—все это словно сдвинуто въ сторону. Два совершенно различныхъ профиля. Приплюснутый назадъ низкій лобъ. Страшно ширококостный затылокъ.

Болѣе яркой картины вырожденія нельзя себѣ представить.

П—въ плодъ кровосмѣшенія. Онъ произошелъ отъ связи родныхъ между собой брата и сестры.

Отецъ и мать были горькіе пьяницы.

Первое преступленіе, за которое онъ попалъ въ каторгу,—убійство товарища во время ссоры.

На Сахалинѣ, кромѣ безчисленныхъ кражъ и преступленій на почвѣ половой лсихопатіи, П—въ совершилъ убійство.

Онъ влюбился въ дочь одного поселенца.

Но репутація П—ва на Сахалинѣ была страшной и отвратительной.

— П—въ идетъ!— это было страшно для поселенцевъ.

П—въ появился въ поселкѣ,—надо было ожидать гнусностей.

Поселенецъ, отецъ любимой дѣвушки, конечно, отказалъ ему.

Тогда П—въ подкараулилъ старика и убилъ его изъ засады.

Отъ вѣчныхъ побоевъ и наказаній, которымъ подвергался П—въ, его спасъ только пріѣздъ на Сахалинъ психіатра.

Психіатръ увидѣлъ въ этомъ странномъ „неисправимомъ преступникѣ“ несчастнаго вырождающагося, нравственно и умственно больного, и взялъ его туда, гдѣ этому „ломбровозскому типу“ мѣсто, въ сумасшедшій домъ.

Для Ломброзо П—въ, бывший магросъ, былъ бы истинной находкой еще и потому, что онъ весь татуированъ.

Тутъ я позволю себѣ, кстати, указать на ошибку, которую, по моему мнѣнію, дѣлаетъ Ломброзо, говоря о склонности преступниковъ къ татуировкѣ. Это скорѣе склонность моряковъ.

Среди моряковъ, многіе изъ которыхъ бывали на Востокѣ, гдѣ искусство татуировки доведено до совершенства, дѣйствительно, есть страсть въ татуировкѣ. Я много встрѣчалъ татуированныхъ преступниковъ на Сахалинѣ, но все это были бывшіе моряки. Нѣтъ ничего удивительнаго въ ошибкѣ Ломброзо: онъ наблюдалъ преступниковъ въ итальянскихъ тюрьмахъ, а среди итальянцевъ—моряковъ больше,

чѣмъ среди какого бы то ни было народа. Если признать страсть къ татуировкѣ признакомъ „преступной натуры“, тогда всѣ флоты всѣхъ странъ состоятъ почти сплошь изъ однѣхъ только преступныхъ натуръ! Вернемся, однако, къ П—ву.

Среди всѣхъ тѣхъ крупныхъ и мелкихъ преступленій и безчинствъ, которыя совершалъ П—въ, онъ съ особой страстью предавался тому же, чему предается и въ сумасшедшемъ домѣ. Писалъ стихи.

Его муза—мрачная и жестокая.

И самъ П—въ занимается поэзіей мрачно. Онъ безпрестанно пишетъ стихи, а затѣмъ рветъ ихъ на мельчайшіе клочки, чтобъ никто потомъ собрать не могъ, или жечь.

— Почему же?

— А такъ!

— Не нравятся они вамъ, что ли?

— Одни не нравятся. Не стильно какъ-то сказано. Хочется по-здоровѣй, посылнѣе, покрѣпче сказать. А другіе... Кто ихъ читаетъ-то будетъ? Смѣяться еще будутъ. Пусть ужъ не знаютъ, что въ нихъ написано.

Самолюбія П—въ страшно, о стихахъ своихъ самаго „поэтического“, т.-е. высокаго мѣнія.

И когда я сказалъ ему, что его стихи могутъ быть и напечатаны, расцвѣлъ и засыпалъ меня стихами.

— Здѣсь не передъ кѣмъ говорить; что здѣсь? Каторга! Развѣ это люди?!—съ невѣроятнымъ презрѣніемъ говорилъ П—въ.—А тамъ люди съ понятіемъ. Поймутъ мои мысли.

— Ну, а если при этомъ напечатаютъ и про всѣ ваши дѣянія?—спросилъ его какъ-то докторъ.

— Пусть,—отвѣчалъ П—въ,—только бы стихи-то напечатали.

И этому безсознательному декаденту-поэту было бы, вѣроятно, очень пріятно, если бъ онъ прочелъ въ печати вотъ это стихотвореніе, которое онъ самъ признаетъ лучшимъ:

### У б і й ц а.

Гдѣ ты найдешь, убійца изступленный,

Покой покрова милостивый крылъ.

Когда стоишь собой приговоренный,

Что ты убилъ.

Повсюду тѣнь убитого тобою,

Кого лишилъ ты жизни, дара силъ,

Бредетъ въ крови медлительной стопою,

Вопитъ: „убилъ!“

Зачѣмъ ты въ храмѣ ищешь утѣшенія,  
Тогда какъ онъ, который жилъ,  
Рукой твоей онъ потерпѣлъ крушеніе,—  
И ты убилъ.

Пускай весь міръ, прощая и съ привѣтомъ,  
Изъ жалости тебя, убійца, осѣнитъ.  
Тебя разить, какъ пуля рикошетомъ:  
„Тобой убить“.

О, сынъ грѣха! Ты! Трусъ, въ крови залитой.  
Да гдѣ же совѣсть? Не было, иль спить?  
Вѣги... Куда? Всякъ путь, тебѣ закрытъ,  
„Убилъ!“ кричить.

### III.

„Paklin“,—такъ, непременно „по-французски“ подписывалъ стихи своимъ бродяжескимъ именемъ сс.-каторжннй Паклинъ.

„Paklin“ любитъ неможко порисоваться и самолюбивъ страшно.

— Я изъ-за своего самолюбія-то ск лько вытерпѣлъ!—говорить и имѣть право сказать онъ.

Паклинъ былъ присланъ въ Корсаковскъ тогда, когда тамъ былъ начальникъ тюрьмы, не признававшій непоротыхъ арестантовъ.

— Я ночей не спалъ, дрожалъ при мысли одной: а вдругъ меня выпоретъ!—говорить Паклинъ.—Случись это,—не одобровать бы ни мнѣ ни ему. По этой кожѣ плеть не ходила, и, можетъ, походить только одинъ разъ.

Онъ волнуется, онъ дрожитъ при одной мысли, все лицо его покрывается красными пятнами, глаза становятся злыми.

Чтобъ избѣгнуть возможности порки, Паклинъ добровольно вызвался относить тягчайшую изъ работъ, отъ которой какъ отъ чумы бѣгутъ каторжане: предлагалъ пойти сторожемъ на заливъ Терпѣнія.

Богъ знаетъ, для чего существуютъ эти сторожевые посты въ глухой тайгѣ, на берегу холоднаго, бурнаго залива. Тайгу или море сторожать?

Жизнь на такомъ сторожевомъ посту, это — одиночное заключеніе.

Даже бѣгле не заходятъ туда. Иногда только забредутъ айны, вымирающіе дикари, аборигены Сахалина, зимой одѣтые въ соболя лѣтомъ—въ платье, сшитое изъ рыбьей кожи.

Отъ этой „каторги“ отказываются всѣ каторжане: лучше ужъ пусть порютъ въ тюрьмѣ.

Три года выжилъ Паклинъ въ этомъ добровольномъ одиночномъ заключеніи среди тайги, пока не смѣстили смотрителя тюрьмы.

Тогда онъ вернулся въ постъ къ людямъ, такъ и оставшись не поротымъ.

О преступленіи Паклина я уже говорилъ (см. часть первую „Паклинъ“).



Инородцы Сахалина. Группа айнецъ.

Теперь познакомимся съ его произведеніями.

— „Лежу на утесѣ“ около маяка, въ шестидесяти шагахъ отъ кладбища, и смотрю на гладь широкаго моря. Все тихо, и грустно въ груди и душа моя томѣй душой полна...

„Придуть и здѣсь меня оставить, —  
Враги мои, друзья мои! —  
Крестъ надо мною не поставятъ,  
Зароютъ здѣсь отъ насъ ядали.  
Никто ко мнѣ ужъ не придетъ  
Поплакать изъ родни съ тоской,  
На памятникъ не прочтеть, —  
Ни сколько жилъ, ни кто такой.  
И на курганъ забытый мой  
Лишь соловей вспорхнеть весной,  
Лишь онъ нарушитъ мой покой,  
Онъ, — восхищенъ весны красой,  
Онъ будетъ пѣть, но не разрушитъ  
Тѣхъ сновъ, могилы чѣмъ полны,  
И пѣснь его ужъ не нарушитъ  
Моей могильной тишины...“

И тамъ и здѣсь звучить та же сентиментальность, замѣняющая чувство у жестокихъ натуръ.

— Такой я въ тѣ поры негодяй былъ! — говорилъ Паклинъ, рассказывая о прошломъ.

О себѣ, тогдѣшнемъ себѣ, онъ отзывается не иначе, какъ о „негодяѣ“.

Три года, проведенные въ одиочествѣ, среди природы, сильно измѣнили Паклина. Въ эти три года онъ велъ записки объ ай-нахъ, которые иногда заходили къ нему. Паклинъ приглядывался къ ихъ жизни, наблюдалъ, и чѣмъ больше наблюдалъ, тѣмъ человѣчнѣе и человѣчнѣе относился къ бѣднымъ, судьбой обиженнымъ дикарямъ.

„Прежде, пишетъ онъ въ своихъ наивныхъ запискахъ, — я смотрѣлъ на этихъ айновъ, какъ всѣ: не люди. Подстрѣлить, — вѣтъ у него соболей, да и все. Но какъ больше присмотрѣлся, вижу, что это вздоръ и невѣжество. Айны такіе же люди, очень хорошо между собою живутъ. Честные и добрые, только очень бѣдные. И у нихъ есть Богъ, только неправильный, а о правильномъ имъ вѣдь никто не объяснялъ. А душа у нихъ такая же и такъ же молиться хочетъ“.

Теперь отъ прежняго гордаго, заносчиваго, нелюбимаго даже каторгой за презрительный нравъ и за гордость Паклина не осталось и слѣда.

— Теперь я тише воды, ниже травы. Обидятъ — стерплю! улыбаясь говорилъ Паклинъ, и на его оттакаивающемъ лицѣ играетъ милая, добрая улыбка, другой разъ и не стерпѣлъ бы, да вспомнишь про жену и про дѣтей, ну, и покоришься.



Въ Корсаковскѣ, — какъ я уже говорилъ, — Паклинъ получилъ въ „сѣнительницы“ молодую, хорошенькую дѣвушку, „скопческую богородицу“, сосланную на Сахалинъ. Она народила ему дѣтей. Паклинъ превратился въ нѣжнаго, любящаго мужа и отца, отличнаго работающаго хозяина.

Заживъ „людскою жизнью“, по его выраженію, Паклинъ сталъ вникать въ людскія горести и нужды, и въ его стихахъ, которые онъ писалъ и пишетъ постоянно, зазвучали инныя ноты. Рѣже стало попадаться „я“, и въ стихахъ зазвучали, такъ сказать, „гражданскіе мотивы“.

„Есть кусочекъ земли  
Между синихъ морей,  
Обитаемъ звѣрьми  
И пріютъ дикарей.  
Надъ нимъ свѣтитъ луна,  
Солнце грѣетъ тепло,  
И морская волна  
Лижетъ берегъ его.  
Не было, какъ сейчасъ,  
Изъ Руси никого,  
Называютъ у насъ  
Сахалиномъ его.  
Были видны однѣ  
Лишь вершины хребтовъ,  
А теперь поглядишь,  
Сколько селъ и портовъ!  
И теперь, каждый годъ,  
Лишь настанетъ весна,  
„Ярославъ“ пароходъ  
Уже тянетъ сюда  
Осужденныхъ кавѣкъ,  
Негодяцій народъ.  
Сотенъ семь челоувѣкъ  
Привезетъ пароходъ.  
Проворчить капитанъ,  
Не уронить слезу:  
„Ждите, осенью вамъ  
Я сестеръ привезу“.  
Обливаясь слезами,  
Остается народъ.  
Ужъ на берегъ свези,  
И ушелъ пароходъ.  
А на пристани къ намъ  
Ужъ конвой приступилъ...  
Толстобрюхій „Адамъ“ 1)

1) Тюремная кличка кого-то изъ служащихъ.

Окружной приказилъ,  
А за нимъ пѣшкой  
И смотритель идётъ.  
Говоритъ окружной:  
— Принимайте народъ!  
— Гдѣ же писарь? Скорѣй  
Переключку!—Сейчасъ!  
— Ерофеевъ Андрей,  
Черемушниковъ Власть,  
Разуваевъ Еремы,  
Раздѣваевъ Федотъ,  
Растегаевъ Пахомъ!  
По порядку идетъ,  
Вотъ подходитъ одинъ,  
Говоритъ: Эге, братъ!  
Ты, какъ видно, „Иванъ“,  
У тебя волчій взглядъ!  
Ты бродяга?—„Кто я?“  
— Говори, негодяй!  
— Кто-де я? <sup>1)</sup>—Вишь, свинья!  
Эй, палачъ, разгибай!  
Залорю! Водку пьешь?  
— „Никакъ нѣтъ, я не пью.“  
— Здѣсь бродяжить пойдешь,  
Въ кандалы закую.  
Мнѣ покоренъ здѣсь всякъ,  
До небесъ высоко...  
Въ мигъ узнаешь маякъ...<sup>2)</sup>  
До цари далеко!  
Безъ вины дать бы сто<sup>3)</sup>,  
Наказать бы я могъ!  
Для меня вы ничто,  
Я вамъ царь, я вамъ Богъ.

— Ради Бога,—просилъ меня Цаклинъ,—напечатайте мои стихи  
Пусть дойдетъ до людей стоишь заживо похороненнаго человека.  
Таковъ „Paklin“.

#### IV.

Съ бродягой Луговскимъ я познакомился при очень трагическихъ  
обстоятельствахъ.

Онъ сидѣлъ въ одиночкѣ въ кандалномъ отдѣленіи Онорской  
тюрьмы и думалъ:

1) Обычная манера бродягъ не отвѣчать на вопросъ о званіи.

2) Около маяка въ посту Кюрасовскомъ кладбище.

3) Начальникъ округа имѣетъ право дать безъ суда и слѣдствія, по единоличному распоряженію, до 100 розогъ и до 30 плетей.

„Повѣсятъ или не повѣсятъ?“

Наканунѣ онъ, писарь тюремной канцеляріи, въ пьяномъ видѣ убѣжалъ, захвативъ револьверъ и „давши клятву передъ товарищами“ застрѣлить бывшаго смотрителя тюрьмы, пріѣхавшаго въ Оморъ за вещами.

Всю ночь въ смотрительской квартирѣ, гдѣ остановился и бывшій смотритель, не спа и, ожидая выстрѣла въ окно. На утро Луговского поймали.

Шелъ споръ. Бывшій смотритель, раздраженный, разозленный, кричалъ:

— Вамъ хорошо говорить,—не васъ хотѣли убить. А у меня жена, дѣти. Вы этого не смѣете такъ оставить! Я губернатору донесу. Каторга и такъ распушена. Пусть его судятъ за то, что хотѣлъ меня убить. Надо дать каторгѣ примѣръ!

За такія дѣянія на Сахалинѣ смертная казнь.

Новый начальникъ, болѣе мягкій, уговаривалъ его не начинать дѣла:

— Это было просто пьяное бахвальство. Высидитъ за это въ карцерѣ,—да и все!

Эти споры тянулись двое сутокъ.

Луговской зналъ о нихъ, и, когда я заходилъ къ нему утѣшить и ободрить, онъ со слезами на глазахъ и со смертной тоской въ голосѣ говорилъ:

— Одинъ бы конецъ! Только скорѣй бы! Скорѣй съ этого свѣта!

Преступленіе, за которое Луговской попалъ въ каторгу, это то же преступленіе, за покушеніе на которое мы такъ аплодируемъ Валентину въ „Фаустѣ“<sup>1)</sup>.

Онъ убилъ обольстителя своей сестры.

Попавъ за это въ среду профессиональных убійцъ, грабителей, людей-звѣрей, Луговской, по его словамъ, „испугался“ и бѣжалъ...

Подъ бродяжеской фамиліей Луговского его поймали, „водворили на заводскія работы“, т.-е. вновь въ каторгу. И вотъ началось непрерывное паденіе. У Луговского отличный почеркъ, — каторга сначала заставляла его поддѣлывать разные необходимые ей документы, затѣмъ онъ началъ самъ этимъ заниматься.

— До чего доходило! За рубль, за полтинникъ нанимался! — рыдалъ, вспоминая прошлое, Луговской. — Да что за полтинникъ! За шапку старую, рваную нанялся документъ поддѣлать, до того весь пропился!

<sup>1)</sup> См. I ч., очеркъ „Интеллигентные люди на каторгѣ“.

Онъ пилъ, за вино готовъ былъ на все.

— А что оставалось дѣлать? Такимъ я въ каторгу пришелъ?

Онъ попадался. Его поролли розгами и плетью.

И вотъ теперь этотъ „Валентинъ“ валялся передо мной на нарахъ, бился, рыдалъ, распухшій, образъ человѣческій потерявшій отъ пьянства.

Бился и рыдалъ:

— Хоть бы поскорѣй съ этого свѣта! Довольно. Ничего на немъ, кромѣ мученій, нѣтъ.

Побѣдиль въ спорѣ новый смотритель. Черезъ два дня злость, вызванная пережитымъ страхомъ, у стараго смотрителя улеглась, и онъ согласился на тотъ „поворотъ“, который, въ сущности, дѣло и имѣло: угрозы Луговскаго были признаны просто пьянымъ бахвальствомъ, и наказаніе за нихъ положено — недѣля карцера. „Дѣла“ рѣшено было не возбуждать.

Радостную вѣсть Луговскому принесъ я. Онъ сначала не вѣрилъ, потомъ расплакался. Ослабѣлъ какъ-то весь. Сидѣлъ на нарахъ, блаженно улыбаясь, на него напала болтливость. Онъ говорилъ много много, зарекался пить, рассказывалъ о своихъ страхахъ и, между прочимъ, сказалъ:

— А я было совсѣмъ съ землею простился. Думалъ на воздухъ нисѣть, и стихи даже написалъ.

— А вы пишете стихи, Луговской?

Онъ конфузливо улыбнулся:

— Малодушествую. Одно мое утѣшеніе.

И, разговорившись о стихахъ, указалъ мнѣ своего товарища, тоже писаря, трезваго, тихаго и милаго молодого человѣка!

— У Гриши возьмите мои стишки. У него тетрадошка. У него, — и отъ себя прячу-сь, чтобъ въ пьяномъ видѣ тетрадошку не растерять. Въ пьяномъ видѣ я все крушить, рвать, ломать готовъ. Ё... трезвомъ — я человѣкъ тихій, ничтожный, а въ пьяномъ злость на меня нападаетъ.

— Ну, а теперь вы какіе же стихи, Луговской, написали?

Какіе ужъ у меня стихи! улыбнулся Луговской. — Смѣяться только будете. Я вѣдь не доучился-сь. Мнѣ бы еще учиться надо, а меня въ каторгѣ.

— Ну, прочтите. Зачѣмъ смѣяться?

Луговской досталъ изъ кармана лоскутокъ бумаги, на которомъ онъ огрызкомъ карандаша написалъ стихи:

— Утромъ проснулся. О своихъ, которые тамъ остались, о прѣжномъ вспомнилъ, ну, написалось...



Инеродцы о. Сахалина. Глиняная юрта. Вверху живут люди, внизу — собаки.



И онъ прочелъ.

„Пришла пора, друзья, проститься  
Мнѣ съ свѣтомъ солнечныхъ лучей  
И съ смертью рано помириться,  
Какъ съ моремъ мирится ручей.  
Ручья конецъ въ томъ бурномъ морѣ,  
И волнъ сѣдыхъ его страшась,  
Журчить и стонеть въ лютыхъ горѣ  
Окъ, съ горъ по камешкамъ струясь  
А мой конецъ въ житейскомъ морѣ,  
Въ глуши далеко отъ людей,  
Въ странѣ суровой, на просторѣ,  
Гдѣ судъ свершаютъ безъ судей...“

Такое стихотвореніе написалъ въ одиночной камерѣ кандалной тюрьмы, ожидая петли, этотъ человѣкъ, ничего, кромѣ каторги, не видавшій въ жизни и писавшій стихи.

Въ тетрадь, которую я взялъ почитать у его товарища, была вся его жизнь. Все, что онъ видѣлъ и чувствовалъ, складывалось въ его головѣ въ созвучія, часто убогія по формѣ, всегда дышавшіе ужасомъ и скорбью.

Я приведу отрывокъ одного „письма изъ-за гроба“, описывающаго дѣйствительное происшествіе, случившееся въ 1887 г. въ Хабаровскѣ, при казни каторжанина Легиныхъ, убившаго на карѣ надзирателя—„нарядчика“.

„Но, невзирая на лишения,  
На трудность тягостныхъ работъ,  
Нарядникъ злой безъ сожалѣнья  
Все больше угнеталъ народъ.  
Я не стерпѣлъ... Одно мгновеніе...  
Досужій часъ я улучилъ,  
Въ минуту гнѣва, раздраженья  
Того нарядчика убилъ.  
И пала жертва моей мести,  
Ударъ былъ нѣренъ и тяжелъ...  
Пока неслися о томъ вѣсти,  
Я самъ съ признаніемъ пришелъ.  
И вотъ, друзья, въ каютѣ темной  
Еще съ полгода я сидѣлъ,  
Томясь, какъ прежде, думой черной,  
На Вожій свѣтъ ужъ не глядѣлъ.  
Меня тамъ судьи навѣщали,  
Священникъ изрѣдка бывалъ,  
А что въ награду обѣщали—  
Объ этомъ я заранѣ зналъ.  
Замкомъ секретнымъ застучала,



Иногородцы в Сахарина. Гилыки. Зимняя почта.

Приклады стукнули объ полъ,  
И страшно, страшно прозвучали  
Слова, чтобъ къ исповѣди шель.  
Священникъ встрѣлъ, благословляя  
Меня какъ сына своего  
И, добрымъ словомъ утѣшая,  
Желалъ за гробомъ мнѣ всего...  
Затѣмъ палачъ рукой проворной  
На шею петлю мнѣ надѣлъ,  
И этой петлею позорной  
Отправить къ праотцамъ хотѣлъ.  
Но тутъ судьба мнѣ „улыбнулась“  
Веревка съ трескомъ порвалась,  
На мигъ дыханіе вернулось,  
И жизнь тихонько подкралась.  
Не радъ я былъ, что грудь дышала,  
Не радъ былъ видѣть бѣлый свѣтъ,  
Душа моя уже витала  
Далеко,—тамъ, гдѣ жизни нѣтъ.  
Я жаждалъ смерти, какъ лѣкарства,  
Искалъ ее, какъ будто мать,  
Чтобы скорѣй свои мытарства  
Ея вишетъ съ жизнью передать...”

Такими картинами полна его тетрадь, какъ и его жизнь!

„Отхлопотавшій“ Луговского смотритель былъ страшно радъ за него:

— Превосходнѣйшій человѣкъ! Мягкій, тихій, кроткій. Только вотъ выпьетъ, — въ остервенѣнье приходитъ. Да ему нельзя и не пить!

## VI.

Нигдѣ не пишутъ столько стиховъ, какъ въ Россіи. Спросите объ этомъ у редакторовъ газетъ и журналовъ. Сколько они получаютъ стиховъ, написанныхъ, по большей части, безграмотно, каракулями. Нигдѣ нѣтъ столько стихослагателей-самоучекъ.

Стихослагатель-самоучка изъ простонародья относится къ своимъ стихамъ, какъ къ чему-то священному. Товарищи надъ нимъ подтруниваютъ, часто насмѣхаются, но тайнѣ все-таки имъ гордятся.

— Вотъ, молъ, какой въ нашей артели, въ нашемъ лабазѣ, въ нашей лавкѣ человѣкъ есть! Стихи писать можетъ!

Сахалинъ капля большого моря. И капля такова же, какъ море.

На Сахалинѣ пишется страшная масса стиховъ. Сборнички этихъ стиховъ, чисто-начисто переписанные, часто съ очень фигурно разрисованной первой страницей, хранятся въ тюрьмахъ, какъ что-то



Инороди Сахалина. Забава гиликовъ.

очень важное, очень цѣнное, у каторжанъ въ „укладочкѣхъ“, — въ маленькихъ сундукахъ, стоящихъ въ головахъ на нарахъ, гдѣ хранятся чай, сахаръ, деньги, табакъ, портреты близкихъ, у кого они есть, письма „изъ дома“.

Такую тетрадочку я получалъ на просмотръ только тогда, когда тюрьма хорошо со мной знакочилась, когда я заслуживалъ ея расположеніе и полное довѣріе.

Тюрьма страшно интересовалась:

— Ну, что?

И, слыша, что „стихи отличные, хоть сейчасъ печатать можно“, тюрьма расцвѣтала и гордилась:

— Вотъ, какіе у насъ люди есть!

По формѣ это по большей части подражаніе Кольцову.

Вотъ истинный русскій народный поэтъ. Грамотность сказывается. Каторга поетъ, какъ пѣсни, массу кольцовскихъ стихотвореній. И, когда человѣкъ хочетъ вылить свои думы и чувства, кольцовская форма и кольцовскій духъ оказываются самыми подходящими къ его душѣ.

По содержанію это масса обращеній „къ ней“, къ далекой „роднѣ“, къ „друзьямъ и братьямъ“, къ своей „будущей могилѣ“.

Страшная масса жалобъ на судьбу, на людей, на окружающихъ, на несправедливость. Масса жалобъ на утрату вѣры, надежды, любви. Почти никогда — самобичеваніе.

Это то же содержаніе, что и содержаніе всѣхъ разговоровъ всѣхъ каторжанъ.

Сахалинъ „созданъ“, — и ради этого истрочена страшная уйма денегъ, — для исправленія преступниковъ.

Девизъ этого „мертвого острова“:

— Возрождать, а не убивать.

Если исправленіе и возрожденіе немислимы безъ раскаянія то Сахалинъ не исполняетъ, не можетъ исполнять своего назначенія.

Все, что дѣлается кругомъ, такъ страшно, отвратительно и гнусно, что у преступника является только жалость къ самому себѣ, убѣжденіе въ томъ, что онъ наказанъ свыше мѣры, и, въ сравненіи съ наказаніемъ, преступленіе его кажется ему маленькимъ и ничтожнымъ. Чувство, совершенно противоположное раскаянію!

Въ его умѣ живетъ эта мысль, конечно, не такъ только формулированная:

— Велика изобрѣтательность человѣческая по части преступленій, но до сихъ поръ еще не изобрѣтено такого преступленія, которое заслуживало бы такой каторги, какъ сахалинская.



И только жалобы слышатся и въ стихахъ.

Замѣчательное дѣло. Среди невѣроятной массы сахалинскихъ стиховъ нѣтъ ни одного, написаннаго на тему о побѣгахъ. Нѣтъ ни одной каторжной пѣсни, написанной на эту тему. Старая, теперь совершенно забытая, острожная пѣсня:

„Звенить звонокъ. На счетъ собирайся.  
Ланцовъ задумать убѣжать.  
Съ слезами съ друзьями онъ простился,  
Проворно печку сталъ хомать“

Эта пѣсня осталась единственной.

Я собралъ, кажется, все, что написано въ стихахъ на Сахалинѣ, и напрасно искалъ:

— Нѣтъ ли чего про побѣги?

„Побѣгъ“ — это затаенная мечта каторжника, послѣдняя надежда, единственное средство къ избавленію, для тюрьмы „самая святая вещь“, о побѣгахъ не только не пишутъ, о нихъ не говорятъ.

Самая оживленная, задумчивая, откровенная бесѣда въ тюрьмѣ моментально умолкаетъ, какъ только вы упомянули о побѣгахъ.

Объ этомъ можно только молчать.

Это слишкомъ „священная“ вещь, чтобы о ней говорить даже въ стихахъ.

## VII.

Сахалинская каторга создала свою особую эпическую поэзію.

Это—циклъ „Онорскихъ стихотвореній“, разбросанныхъ по всѣмъ тюрьмамъ. „Иліады“ Сахалина.

Это отголоски онорскихъ работъ, знаменитыхъ, бессмысленныхъ, безцѣльныхъ, нечеловѣческихъ по трудности, сопровождавшихся ужасами, массой смертей, людоедствомъ.

По большей части такіа стихотворенія носятъ названіе: „Отголоски ада“.

Часто неуклюжія по формѣ, они полны страшныхъ картинъ.

Я приведу вамъ отрывки такого „отголоска“, принадлежащаго поэту многократному убійцѣ, отбывавшему каторгу на онорскихъ работахъ.

Это стихотвореніе написано лѣвой рукой: работы были такъ тяжелы и смерть въ тундрѣ такъ неизбѣжна, что авторъ этого стихотворенія взялъ топоръ въ лѣвую руку, положилъ правую на пень и отрубилъ себѣ кисть руки, чтобы стать „неспособнымъ къ ра-

зотѣ“ и быть отправленнымъ обратно въ тюрьму. Такая страшная форма „уклоненія отъ работъ“ практиковалась на онорской просьбѣ нерѣдко.

Вотъ отрывки изъ этихъ „отголосковъ ада“. Картина при рубкѣ тайги.

„Тамъ, наповаль убить вершиной,  
Лежить, въ крови, убитый трупъ...  
Съ нимъ поступаютъ, какъ съ скотиной,  
Поднявши, въ сторону несутъ.  
Молитвы, бросивъ, не пропѣли...  
На нихъ съ упрекомъ посматрѣлъ  
Лишь воронъ, каркнувшій на али,  
На зовъ собратій полетѣлъ...“

А вотъ другой отрывокъ, описывающій людоедство среди каторжныхъ, случаи котораго были констатированы на онорскихъ работахъ официально:

„И многіе идутъ бродяжить,  
Сманивъ товарищей своихъ.  
А какъ усталъ, — кто съ нимъ крикнетъ,  
Того ужъ вѣчный сонъ постигъ.  
Убьютъ и тѣло вырѣзуютъ.  
Огонь разводять... и шашлыкъ...  
Его и имъ не поминаютъ.  
И не одинъ ужъ такъ погибъ“.

Такихъ картинъ полны всѣ „отголоски ада“.

## VIII.

Юморъ—одна изъ основныхъ чертъ русскаго народа.

„Не гаснетъ онъ и среди сахалинскаго житья-бытья, воспѣвая „злобы дня“.

Служащіе презираютъ каторгу.

Каторга также относится къ служащимъ.

Пищей для юмора поэтовъ-каторжанъ являются разныя „событія“ среди служащихъ.

Жизнь сахалинской „интеллигенціи“ полна вадоровъ, сплетенъ, кляузъ, жалобъ, доносовъ. Тамъ всѣ другъ съ другомъ на ножахъ, каждый готовъ другого утопить въ ложкѣ воды. И изъ всякаго пустяка поднимается цѣлая исторія.

Исторія обязательно съ жалобами, кляузами, часто съ доносами, всегда съ официальной перепиской.

Эта переписка въ канцеляріяхъ ведется писарями изъ котор-  
жанъ же. И, такимъ образомъ, которга знаетъ всегда все, что дѣлается  
въ канцеляріяхъ, знаетъ и потѣшается.

Изъ массы юмористическихъ „злободневныхъ“ стихотвореній я  
приведу для примѣра одно, описывающее „исторію“, надѣлавшую  
страшнаго шума на Сахалинѣ.

„Исторія“ вышла изъ-за... курицы.

Курица, принадлежащая женѣ одного изъ служащихъ, пристала  
къ курамъ, принадлежавшимъ женѣ священника.

Жена служащаго и ея мужъ увидѣли въ этомъ „злой умыселъ“  
и обратились къ содѣйствію полиціи.

Полицейскіе явились во дворъ священника и отнесли „инкрими-  
нуемую курицу“ на мѣсто постоянного жительства.

Священникъ въ такихъ дѣйствіяхъ полиціи, конечно, усмотрѣлъ  
оскорбленіе для себя.

И пошли писать канцеляріи.

Жалобы, отписки, переписки посыпались цѣлой лавиной, волнуя  
весь служащій Сахалинѣ.

Я самъ слышалъ, какъ гг. служащіе по цѣлымъ часамъ необычайно  
горячо обсуждали „вопросъ о курицѣ“ и ждали большихъ послѣдствій:

— Еще неизвѣстно, чѣмъ курица кончится!

Тюрьма немедленно воспѣла это въ стихахъ. Вотъ отрывки.

Супруга служащаго жалуется своему супругу:

„Ахъ, мой милый, вотъ бѣда!  
Я вчера курей смотрѣла;  
И та курица, что пѣла,  
Помнишь, часто пѣтукомъ,  
Вѣдь пропала! И грѣхомъ,  
Какъ потомъ я разузнала,  
Прямо къ батюшкѣ попала.  
И теперь ужъ у попа  
Курица цѣлая копа.“

Служащій „обратился къ содѣйствію полиціи“, и та послѣдуетъ  
„водворить курицу на мѣсто жительства“:

„Потъ ручьемъ съ нихъ лиль, катился,  
И песокъ какъ вихорь вился  
Изъ-подъ ихъ дрожащихъ ногъ...  
Знать, досталось на пироги!!!“

Священникъ въ это время выходитъ изъ дома п...

„И лишь онъ ступилъ во дворъ,  
Что же видитъ? О позоръ!

Снявши фракъ, сбросивъ сабли,  
Руки вытянувъ, что грабли,  
Полицейскій съ окружнымъ  
Словно пляшутъ передъ нимъ!  
И, нагнувшись до земли,  
Ловятъ курицу они...

Чѣмъ кончится история, вы знаете:

Канцеляріи пишутъ.

Служащіе волнуются и ждутъ „отъ курицы послѣдствій“.

Тюрьма потѣшается, читаетъ стихотвореніе поэта-каторжника.

А въ курятникѣ, по словамъ стихотворенія, происходитъ слѣдующее:

„А въ тотъ мигъ на куросѣствъ,  
Сидя съ курицами вмѣстѣ,  
Такъ бѣглика говорила:  
— И зачѣмъ меня родила  
Въ бѣлый свѣтъ старуха-мать!  
Не дадутъ и погулять!  
И что сдѣлать я могу?  
Чуть что выйдешь къ пѣтуку,  
А глядишь, — тутъ за тобой  
Вся полиція толпой!“

Такъ развлекаютъ каторгу.

### Преступники душевно-больные.

Въ посту Александровскомъ вы часто встрѣтите на улицѣ высокаго мужчину, красавца и богатыря—настоящаго Самсона. Длинные вьющіеся волосы до плечъ. Всегда безъ шалки. На лбу перевязь изъ серебрянаго галуна. Такимъ же галуномъ обшить и арестантскій халатъ. Въ рукахъ высокій посохъ.

Онъ идетъ, разговаривая съ самимъ собою. Выраженіе лица благородное и вдохновенное. Съ него смѣло можно писать пророка.

Это Регеновъ, бродяга, душевно-больной.

На вопросъ:

— Кто вы такой?

Онъ отвѣчаетъ:

— Сынъ человѣческій.

— Почему же это такъ?

Мой отецъ былъ крѣпостной. Его все знали „человѣкъ“ да „человѣкъ“. Отецъ былъ „человѣкъ“, значить, я сынъ человѣческій.



Группа каторжанъ, обѣдающихъ около шанашей во время лѣтнихъ работъ.



Въ тѣ дни, когда Регенову не удастся удирать изъ-подъ надзора въ постъ Александровскій и приходится сидѣть въ психіатрической лѣчебницѣ, въ селѣ Михайловскомъ, онъ занимается цѣлые дни тѣмъ, что пишетъ письма „къ человѣчеству“.

Первымъ вопросомъ его при знакомствѣ со мной было:

— Вы изъ-за моря пріѣхали?

— Да.

— Скажите, да есть ли тамъ человѣчество?

— Есть!

Регеновъ съ недоумѣніемъ пожалъ плечами.

— Странно! Я думалъ, что всѣ померли. Пишу, пишу письма, чтобы водворили справедливость, — никакого отвѣта!

„Правды нѣтъ на свѣтѣ“ — это пунктъ помѣшательства Регенова.

— Оттого даже французскій король пошелъ бродяжить! — поясняетъ онъ.

— Какъ такъ?

— Такъ! Нѣтъ нигдѣ правды, онъ и сдѣлался бродягой. Сказался чужимъ именемъ и бродяжить.

— Да вы это навѣрное знаете?

— Чего вѣрнѣе!.. Скажите, во Франціи есть король?

— Нѣтъ.

— Ну, такъ и есть. Ушелъ бродяжить. Развѣ безъ правды жить можно?

У Регенова въ психіатрическомъ отдѣленіи отдѣльная комната. Подоконники убраны раковинами. На подоконникъ къ нему слетаются голуби, которыхъ онъ кормитъ крошками. Въ комнатѣ съ нимъ живетъ и собака, съ которой онъ иногда разговариваетъ часами:

— Безсловесное! Человѣчество говоритъ, что у тебя замѣчательный нюхъ. Отыщи, гдѣ правда. Шершъ!

На голыхъ стѣнахъ два украшенія: скрипка, изъ которой Регеновъ время отъ времени, въ минуту тоски, извлекаетъ душу раздирающіе звуки, „чтобы пробудить спящія сердца“, и на почетномъ видномъ мѣстѣ виситъ палочка съ длинною ниткой.

На вопросъ, что это, Регеновъ отвѣчаетъ:

— Бить для человѣчества.

Регеновъ очень тихъ, кротокъ и послушенъ, съ докторомъ онъ вѣжливъ, предупредителенъ и любезенъ, но тюремное начальство ненавидитъ, считая его „вмѣстилищемъ всяческой неправды“.

Есть одна фраза, чтобы привести этого кроткаго и добродушнаго человѣка моментально въ неистовое бѣшенство. Стоить сказать:

— Я тебѣ Богъ и царь!

Надо замѣтить, что для сахалинской мелкой тюремной администраціи есть одно „непростительное“ слово „законъ“, когда его



Сахалинскій крестьянинъ, изъ ссыльныхъ, судился въ 1851 г., и послѣ того 8 разъ за бродяжничество принялъ 400 плетей.

произносить ссыльно-каторжный. Въ устахъ каторжанина это слово приводить ихъ въ неистовство.

— Это не по закону!—заявляетъ каторжникъ.

— Я тебѣ дамъ законъ!—кричитъ внѣ себя мелкій сахалинскій чинуша и топаетъ ногами.—Я тебѣ покажу „законъ“!

Зато у нихъ есть любимое выраженіе:

— Я тебѣ Богъ и царь!

Я слышалъ, какъ это кричали не только помощники смотрителей тюремъ, но даже старшіе надзиратели!

При словахъ „я тебѣ Богъ и царь“ глаза Регенова наливаются кровью, синія жилы вздуваются на побагровѣвшемъ лицѣ, онъ вскакиваетъ съ воплемъ:

— Что? Что ты сказалъ?

И бываетъ страшенъ. При его колоссальной силѣ онъ дѣйствительно можетъ Богъ знаетъ чего надѣлать.

Другое слово, которое приводитъ Регенова въ изступленіе, это:

— Терпи!

Онъ страшно волнуется даже при одномъ воспоминаніи объ увѣщавателяхъ, которые приходили увѣщавать его въ тюрьмахъ.

— Ты ѣшь, пьешь, гуляешь, хорошо тебѣ говорить: „терпи“.

Разсказывая мнѣ объ этихъ увѣщаніяхъ, Регеновъ разволновался и такъ ударилъ кулакомъ по столу, что отъ стола отлетѣлъ уголь. Было жутко.

Регеновъ съ 18 лѣтъ по тюрьмамъ. До 18 лѣтъ онъ, подъ своей настоящей фамиліей Толмачева, служилъ въ поварятахъ, а затѣмъ вдругъ пришелъ къ убѣжденію, что „правды нѣтъ на свѣтѣ“ и ушелъ, „какъ французскій король“, бродяжить. Регеновъ—его бродяжеское прозвище. Какъ бродяга, онъ попалъ въ каторгѣ. Онъ никого не убилъ, никого не ограбилъ и на вопросъ:

— Вотъ вы любите правду,—правду и скажите: этихъ дѣлъ за вами нѣтъ?

Отвѣчаетъ не то, что съ негодованіемъ, а съ изумленіемъ:

— Да развѣ это можно? Развѣ это „правда“?

Но при колоссальной физической силѣ, водворяя правду, онъ наговорилъ Богъ знаетъ сколько буйствъ, нанесъ невѣроятное число оскорбленій, „бунтовалъ“ неисчислимо число разъ. И сколько наказаній вынесъ этотъ строптивый, дерзкій, буйный арестантъ-бунтарь! Такъ прошло 25 лѣтъ. Бѣгая съ каторги, съ поселеній, принимая за побѣги плети и розги, Регеновъ прошелъ всю Сибирь и добрался до Хабаровска. Въ Хабаровскѣ онъ сидѣлъ въ кабацѣ, когда туда вошелъ квартальный. Всѣ сняли шапки, кромѣ Регенова.

— Ты почему не снимаешь шапки?

— А зачѣмъ я здѣсь передъ тобой буду снимать шапку? Въ кабацѣ всѣ равны. Всѣ пьяницы.

— Да ты кто такой?

— Бродяга.

— Бродяга?! И смѣешь еще разговаривать? Да знаешь ли ты, что я тебѣ „Богъ и царь“?!

Угрозидло квартальнаго сказать эту фразу, „ходовую“ не только на Сахалинѣ, но и во всей Сибири. Что тутъ только надѣлалъ Регеновъ, Богъ его знаетъ!

— Все билъ! — кратко поясняетъ онъ, вспоминая объ этомъ случаѣ.

Его взяли, какъ бродягу, осудили на полтора года въ каторгу и затѣмъ на поселенье за бродяжество, съ тѣлеснымъ наказаніемъ за побѣги, и сослали на Сахалинѣ.

На Сахалинѣ, съ его нравомъ и съ его силой, онъ былъ сей-часъ же зачисленъ въ число опаснѣйшихъ каторжниковъ. Онъ безпрестанно бѣгалъ изъ тюрьмы, и, когда Регеновъ, Коробейниковъ и Заваринъ, — теперь они всѣ трое въ психиатрическомъ отдѣленіи, — появлялись гдѣ-нибудь на дорогѣ, имъ навстрѣчу посылали отрядъ.

— Регеновъ, Коробейниковъ и Заваринъ идутъ изъ Рыковского! — эта была страшная вѣсть, и пока это тріо не ловили, чиновники остерегались ѣздить изъ Александровска въ Рыковское.

Этотъ сумасшедшій богатырь, дѣйствительно, можетъ наводить ужасъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ зашелъ въ зданіе каран-тина, когда тамъ была только что пригнанная партія ссыльно-каторж-ныхъ женщинъ, ожидавшая, пока ихъ разберутъ въ сожительницы поселенцы. Регенову приглянулась одна изъ каторжанокъ, да и ей, видимо, понравился силачъ-красавецъ.

Регеновъ рѣшилъ „начать жить по правдѣ“.

— Уне есть человѣку едину быти.

Выгналъ всѣхъ бабъ изъ карантиннаго сарая, выкидалъ всѣ ихъ вещи, оставилъ только понравившуюся ему каторжанку и объ-явилъ:

— Кто хоть близко подойдетъ къ карантину — убью.

Сарай окружили стражей, но итти никто не рѣшался.

И Регеновъ живой бы не дался и у нападающихъ были бы че-ловѣческія жертвы.

Рѣшили взять его изморомъ. Нѣсколько дней длилась осада, пока каторжанка, изнемогая отъ голода, сама не сбѣжала, воспользо-вавшись сномъ своего сумасшедшаго друга.

Тогда Регеновъ переколотилъ въ „карантинъ“ всѣ окна, переломалъ всѣ скамьи и нары и ушелъ, разочарованный и разогорченный. О женщинахъ съ тѣхъ поръ онъ не желаетъ даже слышать:

— Развѣ онѣ могутъ по правдѣ жить? Имъ бы только жрать!

Въ самый день моего отъѣзда съ Сахалина ко мнѣ, въ посту Александровскомъ, явился Регеновъ:

— Пришелъ проститься. Увидите человѣчество, скажите...

— Да вы спрашивались, Регеновъ, у доктора?

— Нѣтъ.

— Какъ же вы такъ? Опять поймаютъ!

— Нѣтъ!

Регеновъ добродушно улыбнулся.

— Не безпокойтесь. Я на этотъ случай всѣ телефонныя столы выворотилъ.

Селенье Михайловское соединено съ постомъ Александровскимъ телефономъ.

— Шелъ по дорогѣ да столбы и выворачивалъ, чтобъ не могли сказать, что я ушелъ. Всѣ до одного, и проволоки даже, перервалъ.

Увы! Любитель правды не солгалъ: это была правда.

При такихъ дѣяніяхъ Регенову приходилось плохо на Сахалинѣ. И такъ длилось до 1897 г., когда на Сахалинѣ впервые былъ командированъ „не помагающійся по штату“ психіатръ, и впервые же было устроено и психіатрическое отдѣленіе. Психіатръ, едва посмотрѣвъ на „неисправимаго“ арестанта-бунтаря, сказалъ:

— Господа! Да вѣдь это сумасшедшій.

И посадилъ его въ свое отдѣленіе, которое быстро наполнилось: въ одномъ 1897 г., въ одномъ посту Александровскомъ, среди каторжанъ оказалось 73 сумасшедшихъ.

Въ психіатрическомъ отдѣленіи Регеновъ быстро успокоился, сталъ кротокъ и послушенъ и только иногда буйствуетъ, входя въ соприкосновеніе съ тюремною администраціей.

— Ужъ его всячески стараюсь отдалить отъ всякихъ соприкосновеній и столкновений! - говорилъ мнѣ психіатръ. — Многие и до сихъ поръ не хотятъ понять, что онъ сумасшедшій. А ему бы 25 л. тому назадъ слѣдовало здѣсь сидѣть.

Когда я послѣ бесѣды объ увѣщаніяхъ выходилъ изъ комнаты Регенова, ко мнѣ подоплелъ небольшого роста подслѣповатый человѣкъ.

Близорукость вообще развиваетъ подозрительность. Плохо видя, что кругомъ дѣлается, близорукіе всегда держатся немного „насторожѣ“. Но этотъ ужъ былъ сама подозрительность, даже по внѣшности.

Онъ потихоньку сунулъ мнѣ въ руку бумажку, пробормотавъ:

— Прочтите и дайте законный ходъ!



И отошелъ.

— Помягшевъ!—тихо сказалъ мнѣ докторъ, — вѣроятно, доносъ на меня!

Такъ и оказалось. Принимая меня за „завѣдующаго всѣми медицинскими частями“, Помягшевъ обвинялъ всѣхъ докторовъ острова



Типы Сахалина. Сахалинскій крестьянинъ, изъ ссыльныхъ, судился въ 1864 г.

Сахалина „въ повальномъ и систематическомъ отравленіи больныхъ ради корыстныхъ выгодъ“.

Каждый разъ, какъ мнѣ приходилось бывать въ больницѣ, Помягшевъ крадся за мной и высматривалъ откуда-нибудь изъ-за угла, какъ я бесѣдую съ докторомъ. А черезъ нѣсколько дней попалъ доносъ доктору уже на меня. Бумага адресована „г. сахалинскому

генераль-губернатору“, и въ ней сообщалось, что „я, заведующій всеми медицинскими частями, изъ корыстныхъ видовъ сошелся съ докторами въ цѣляхъ дурного питанія арестантовъ и присвоенія себѣ причитающихся имъ денегъ“.

Помягшевъ титулуется себя таинственнымъ репортеромъ Горюновымъ и издаетъ въ психіатрическомъ отдѣленіи рукописный журналъ, съ эйиграфомъ:

✠ „Cum Deo“.

И подъ названіемъ:

„Биографическій журналъ „Разрывные снаряды“, въ поэмахъ, стихахъ, пѣсняхъ и карикатурахъ, составляемый таинственнымъ репортеромъ-самоучкою Лаврентіемъ Аванасьевичемъ Горюновымъ“.

Въ журналъ оный вписываетъ сентенціи:

„Изъ слабыхъ людей составилось сильное человѣчество“.

И тамъ вы встрѣтите сатирическіе стишки, въ родѣ слѣдующихъ:

„Одесскій адвокатъ Куперникъ  
Всѣхъ Плевакъ соперникъ,  
Любитъ онъ крупныя дѣлашки,  
Которыя учиняютъ грязные людишки.  
Три тысячи въ часъ, три тысячи въ часъ,  
Крайне жалѣя, что мало такихъ у насъ“.

Но это „смѣсь“, — главное содержаніе журнала — доносы, гдѣ онъ сообщаетъ, что, „имѣя тончайшій и незаучный, но для меня достаточный слухъ, такого-то числа услышалъ то-то“. Идутъ обвиненія докторовъ, администраціи, надзирателей, арестантовъ во всяческихъ „преступленіяхъ и неправдахъ“.

Весь день, съ утра до ночи, Помягшевъ проводитъ въ томъ, что сочиняетъ доносы и жалобы, въ которыхъ проситъ „вчинить къ такому-то искъ и сослать въ каторгу“.

Это и привело Помягшева на Сахалинъ.

Онъ — мѣщанинъ одного изъ поволжскихъ городовъ, имѣлъ домишко, заболѣлъ и началъ вчинять ко всѣмъ искъ и писать на всѣхъ доносы, добиваясь правды.

Это одна изъ самыхъ казойливыхъ и нестерпимыхъ маній, очень распространенная, но мало кѣмъ въ житейскомъ кругу за болѣзнь признаваемая, — манія сутяжничества.

О такой мало кто и слышалъ!

Заболѣвъ сутяжническимъ помѣшательствомъ, Помягшевъ, конечно, просудилъ все, что у него было, по своимъ нелѣпымъ искамъ возстановилъ доносами противъ себя все и вся и, придя въ полное отчаяніе, что „правды нѣтъ“, рѣшилъ обратить на себя „вниманіе

правительства". Онъ поджегъ свой домъ, чтобы на судѣ разсказать „всю правду и гласно обнародовать всѣ свои обвиненія".

Но, конечно, когда на судѣ онъ началъ молоть разный вздоръ, не идущій къ дѣлу,—его остановили. Поджогъ былъ доказанъ,—и Помягшевъ попалъ на Сахалинъ.

Временами онъ впадаетъ въ манію преслѣдованія. Его охватываетъ ужасъ. Всѣ кругомъ ему кажутся „агентами сатаны"—и онъ самъ находится во власти того же господина сатаны". По временамъ ему кажется, наоборотъ, что на него возложена спеціальная миссія, „водворить правду", онъ впадаетъ въ манію величія и пишетъ распоряженія, въ которыхъ приказываетъ „всѣмъ властямъ острова Сахалина съѣхаться въ 6 часовъ утра и ждать, пока я, таинственный репортеръ, не дамъ тоекратнаго сигнала". Эти „приказы", которые онъ передаетъ „по начальству", какъ и доносы, полны отборнѣйшей ругани.

Появно, что Помягшеву досталась трудная каторга. Доносчика и сутягу ненавидѣли арестанты и не переваривало тюремное начальство. Онъ всѣхъ и вся заваливалъ доносами и жалобами. Его была смертнымъ боемъ каторга и „исправляли тюремныя власти".

Такъ длилось тоже до 97 года, когда пріѣхавшій на Сахалинъ психіатръ, наконецъ, взялъ его въ психіатрическое отдѣленіе:

— Да это больной.

— Въ сахалинскихъ тюрьмахъ вообще не мало больныхъ маніей сутяжничества, — говорилъ мнѣ психіатръ, — преступленій, совершаемыхъ для того, чтобы „обратить на себя вниманіе" и такимъ путемъ „добиться правды", вообще гораздо больше, чѣмъ думаютъ.

Мнѣ лично много приходилось видѣть на Сахалинѣ арестантовъ, всѣмъ надобѣдающихъ самыми нелѣпыми, неосновательными жалобами и доносами, тратящихъ послѣдніе гроши, чтобы наваять знающаго арестанта для составленія такой жалобы. Самая нелѣпость, фантастичность жалобъ говорить за то, что это душевно-больные.

— Вотъ не угодно ли-съ! — воскликнулъ Помягшевъ, когда мы съ докторомъ вошли въ одну изъ палатъ,—не угодно ли-съ!

Жестомъ, полнымъ негодованія, онъ указалъ на больного, который моментально закрылся одеяломъ съ головой, лишь только мы появились.

— Не угодно ли-съ! Почему человѣкъ прячется? Что здѣсь скрыто? Какая тайна? Не надо на это обратить вниманіе? Не нужно раскрыть? Такъ здѣсь обращаютъ вниманіе на правду?!

И, подергиваясь от негодованія, Помягшевъ убѣждалъ, — вѣроятно, писать доносъ.

„Тайна“ лежала, притаившись, подъ одѣяломъ.

Это — Юшпаничъ, крестьянинъ Вятской губ. Поистинѣ, живая трагедія. Онъ ушелъ изъ дома на золотые пріиски, — на обратной дорогѣ его обокрали: украли деньги и паспорта. Это такъ повлияло на несчастнаго, что онъ помѣшался. У него явился бредъ преслѣдованія. Ему казалось, что его, Юшпанича, ищутъ, чтобы убить и ограбить. Онъ рѣшилъ лучше перемѣнить фамилію и назвался вымышленнымъ именемъ. Его арестовали, какъ безпаспортнаго бродягу, и сослали. Онъ пробылъ на Сахалинѣ три года. Здѣсь, почувствовавъ довѣріе къ доктору, онъ открылъ свое настоящее имя. Пошло разслѣдованіе, — но несчастному ужъ не вернуться на родину.

Бредъ преслѣдованія продолжаетъ его мучить. При появленіи въ палатѣ новаго лица онъ слышитъ закрыться одѣяломъ:

— Начнутъ опять опознавать, снимать карточки. Мученіе.

Только послѣ долгихъ уговоровъ доктора онъ согласился наполовину открыть лицо.

Ему страстно хотѣлось бы вернуться на родину. Онъ тоскуетъ по своимъ. Но о своемъ „дѣлѣ“ — о признаніи его тѣмъ, кто онъ есть, говорить избѣгаетъ:

— Сколько тянется! Сколько тянется!

— Вы, можетъ-быть, хотите рассказать господину о нашемъ дѣлѣ? — спросилъ его докторъ.

— Нѣтъ! Нѣтъ! Лучше не говорить, чтобъ не растревлять.

И Юшпаничъ снова юркнулъ подъ одѣяло.

— Дѣйствительно, ужасный случай. Но кому на судѣ, не психіатру, придетъ въ голову, что этотъ бродяга, упорно нежелающій открыть свое званіе, въ сущности, страдаетъ маніей преслѣдованія! — пожалъ плечами психіатръ. — У насъ, какъ видите, слишкомъ мада больница для душевно-больныхъ. И вы встрѣтите ихъ у насъ, на Сахалинѣ, много въ тюрьмахъ и на свободѣ.

За завтракомъ у доктора я познакомился съ бывшимъ офицеромъ З—вымъ.

— Очень интересный субъектъ! — обратилъ на него мое вниманіе докторъ.

З—въ сосланъ въ каторгу за убійство своего денщика. Онъ подозревалъ свою жену и денщика въ томъ, что они хотятъ его убить „при помощи гипнотизма“.

— Я уже чувствовалъ-таки! — объяснилъ онъ.

Онъ и на судѣ что-то толковалъ про гипнотизмъ и электричество, а по дорогѣ на Сахалинъ, еще на пароходѣ, сумасшествіе выяснилось окончательно.

Онъ разсылалъ офицерамъ парохода свою рукописную карточку: — Къ своей мѣркѣ меня... „на“ + всепрощеніе мое = трансцендентально вѣрно. Вашъ слуга Н. Д. З—въ.

И ежедневно подавалъ капитану парохода докладныя записки о сдѣланныхъ имъ открытіяхъ и изобрѣтеніяхъ съ просьбой выдать ему поскорѣе милліонъ.

Прежняя манія преслѣдованія смѣнились бредомъ величія.

Онъ ни одного дня не былъ въ тюрьмѣ, — его прямо съ парохода помѣстили въ больницу, — до того было ясно его помѣшательство.

Теперь онъ тихій и безопасный больной, гуляетъ на свободѣ, надѣдаетъ сахалинскому начальству, являясь поздравить каждое воскресенье съ праздникомъ:

— По обязанности службы.

Онъ поневогу впадаетъ въ полное слабоуміе, — своимъ прошлымъ интересуется мало и о гипнотизмѣ отзывается съ усмѣшкой.

— Это мнѣ казалось! — съ пріятнѣйшею улыбкой объяснилъ онъ мнѣ. — Я и на судѣ говорилъ, что сдѣлалъ „то“ подъ вліяніемъ электрическихъ токовъ! Но это — пустяки.

Теперь онъ „изобрѣтатель машины Парадоксонъ“ и страдаетъ любовнымъ бредомъ. Онъ увѣренъ, что въ него влюблены дочери и жены всѣхъ чиновниковъ, „назначаютъ ему свиданія“, „дѣлаютъ при встрѣчѣ тайные условные знаки“, но скрываютъ отъ другихъ свои чувства, боясь преслѣдованій.

Въ виду этого онъ пишетъ имъ всѣмъ по очереди письма:

— „Милая Аня! Въ дополненіе прежнихъ обѣщаній, прибавлю 175.000 руб. вамъ отъ меня. Примите сегодня къ себѣ возлюбленнаго мірового генія-олимпійца З — ва, меня. Немедленно помѣстите въ домъ своемъ меня квартирантомъ. Изобрѣтатель машинъ „Парадоксонъ“ Н. Д. З—въ.

„Р. S. Пришлите за мной лошадь“.

Этотъ „колоссальный успѣхъ у женщинъ“, о которомъ онъ съ удовольствіемъ рассказываетъ, заставляетъ его внимательно слѣдить за своей наружностью и тщательно расчесывать свои рыженькіе бачки.

— По-своему этотъ „изобрѣтатель“, пожалуй, даже счастливъ, — говорилъ мнѣ психіатръ, — но... дѣло-то въ томъ, что онъ началъ изобрѣтать свою машину Парадоксонъ еще до убійства!



Вотъ нѣкоторыя изъ скорбныхъ тѣней преступниковъ-душевно-больныхъ, которыя возстаютъ въ моей памяти.

Если эти строки подскажутъ читателю мысль, что врачу должно быть больше отведено мѣста на судѣ, я буду считать свою задачу исполненной.

### Сахалинское Монте-Карло.

На большомъ дворѣ на травкѣ грѣются на солнышкѣ слѣпыя безногіе калѣки. Кутаясь въ рванье, дрожа старческимъ, избитымъ, истерзанымъ тѣломъ, бродятъ „клейменные“; на лѣвой щекѣ буква „К“, на лбу „Т“, на правой щекѣ „С“.

Изъ открытыхъ форточекъ слышны удушающій, затажной кашель, старческая ругань, сквернословіе, возгласы:

— Бардадымъ <sup>1)</sup>!

— Шеперка <sup>2)</sup>.

— Братское окошко <sup>3)</sup>!

— Атаанда <sup>4)</sup>.

Это сахалинское „Монте-Карло“, — какъ зовутъ гг. служащіе. Каторжная богадѣльня въ селеніи Дербинскомъ. Она населена нищими, шулерами и ростовщиками.

Начальство туда не заглядываетъ.

— Ну ихъ къ чорту! — говорилъ мнѣ смотритель, довольно интеллигентный человѣкъ. — Это остатки отъ „Мертваго дома“. Пусть догниваютъ!

Священникъ пробовалъ ходить, но бросилъ.

— Невозможно-съ! — говорилъ мнѣ дербинскій батюшка, священникъ изъ бурятъ. — Ходилъ къ нимъ со святой водой, руганью встрѣчаютъ, сквернословіемъ, издѣвательствами. Тутъ священное поешъ, а рядомъ на нарахъ непотребныя слова, хохотъ, каждое твое слово подхватываютъ, переиначиваютъ, концунствуютъ, смѣются. „Ишь, — кричатъ, — долгогривый, гнусить сюда пришелъ, только играть мѣшаешь. Вонъ убирайся!“ И ходить бросилъ. Посрамленіе-съ.

Всякая сахалинская тюрьма — игорный домъ. Но Дербинская богадѣльня славится и въ сосѣднихъ округахъ. „Поиграть въ богадѣльню“ пріѣзжаютъ и приходятъ поселенцы съ дальнихъ поселеній.

Когда предвидится хорошая пожива, старики-ростовщики складываются и выставляютъ „хорошій, большой банкъ“ — рублей въ

---

<sup>1)</sup> Король. <sup>2)</sup> Шестерка. <sup>3)</sup> Двойка. <sup>4)</sup> Атаанде.

150. въ 200. Старики-игроки, метчики, мечуть навѣрняка. Понтирующий плутуетъ, какъ можетъ.

Въ Дербинской богадѣльнѣ случаются большіе проигрыши.

При мнѣ пріѣхавшій поиграть поселенецъ проигралъ все, что было, лошадь, телѣгу, платье съ себя, получилъ „смѣнку“, какое-то рванье, и вышелъ нищимъ.

Грязь и вонь въ камерахъ, гдѣ помѣщается по 40, по 50 стариковъ, невообразимыя.

Старики жалуются:

— Мыло, что на насъ полагается, себѣ берутъ. Бѣлишка нашего не стираютъ!

Бѣлье, никогда не стиранное, расплывающееся на тѣлѣ, носится до тѣхъ поръ, пока эти землистаго цвѣта истлѣвшія лохмотья не свалятся окончательно.

Нары, на которыхъ лежатъ больные, неопрятные, пропитаны грязью. Кучи лохмотьевъ кишатъ насѣкомыми.

Въ этомъ смрадномъ „номерѣ“, на нарахъ у майданщика, и рѣжутся въ „стосъ“.

Старики стѣной стоятъ вокругъ играющихъ.

Весь „номеръ“ заинтересованъ въ игрѣ.

Стремщикъ стоитъ у дверей и, если есть какая-нибудь опасность, говорить:

— Вода!

А когда приближается начальство:

— Шесть!

Въ Дербинской богадѣльнѣ начальство не бываетъ никогда. И стремщику, собственно говоря, дѣлать нечего. Но ужъ та ой поря-



Арестантскіе типы.

докъ: „какъ играть — такъ къ двери ставить“, да и къ тому же „надо дать бѣдному старику что-нибудь заработать“.

Стремщикъ зналъ уже, что я не „вода“ и не „шесть“, и пропустилъ меня свободно.

— Игра?

— Страсть!

На нарахъ у майданщика, изъ татаръ, были налицо всѣ „отцы“, ростовщики богадѣльни. Сидѣли, поджавши ноги, и во всѣ глаза слѣдили за банкометомъ и за понтирующимъ.

Игра шла крупная. „Одинъ на одинъ“. Другіе съ мелкимъ „понтомъ“ и не приступались.

Металь бродяга Иванъ Пройди-Свѣтъ. Старый каторжникъ, со шрамами на щекахъ и на лбу. Это онъ вырѣзалъ у себя „клейменные буквы“. Игрокъ метки удивительной:

— Первая по всей богадѣльнѣ метка!

Въ обыкновенное время онъ, дряхлый довольно, когда-то, видно, богатырь, сидитъ себѣ на солнышкѣ и грѣетъ свои старыя „ломанья“ кости. Развалина, подумашь. Но за картами онъ перерождается. За картами онъ „строгъ“. Зорокъ поразительно. Въ рукахъ никакой дрожи, — машина. Дергается неуловимо. Мечетъ твердо, съ разстановкой, со стукомъ, отчетливо кладя карту въ карту.

Онъ металь на маленькомъ, чистенькомъ мѣстечкѣ на нарахъ майданщика. Металь спокойно, молча, именно, какъ машина.

— Бига!.. Дана!.. — это кричали уже старики, стоявшіе стѣной вокругъ.

До денегъ не притрогивался. Деньги тащили къ себѣ или выплачивали старики „отцы“. Онъ былъ нанятъ только метать.

Поселенецъ, продувавшій уже лошадь, дергался. Лицо у него шло пятнами. То блѣднѣлъ, а то краснѣлъ съ ушами.

Выдергиваль изъ своей колоды карту, ставилъ подъ нее кушъ и смотрѣлъ, на что онъ поставилъ только тогда, когда открывали „сопки“.

Смотрѣлъ мелькомъ, сбоку, чтобы не показать карты другимъ. А кругомъ шелъ „телеграфъ“. Старики подсматривали карту и обмѣнивались условными, незамѣтными знаками. То кто-нибудь почешетъ переносицу, то глазъ, то пощелкаетъ въ бородѣ. Пройди-Свѣтъ все кругомъ видѣлъ, примѣчалъ къ по знакамъ узнавалъ, какая у поселенца карта.

Поселенецъ время отъ времени, какъ разозленный волкъ, оглядывался на стариковъ. И это было страшно. Поселенецъ игралъ съ вожомъ въ голенищѣ, чтобы, если придется, кого „пришить“. Ста-

рики стояли тоже съ ножами, у кого въ сапогѣ, у кого за пазухой, чтобы „въ случаѣ чего“ пустить ихъ въ дѣло. Иначе въ тюрьмѣ не играютъ.

Пройди-Свѣтъ, открывъ „совики“, останавливался и ждалъ.

— Дальше! — говорилъ поселенецъ.

Пройди-Свѣтъ металъ еще абцугъ и останавливался.

— Дальше!

Пройди-Свѣтъ не двигался.



Сс.-каторжные богадѣльщики въ селѣхъ Дербинскомѣ.

— Три сбоку! — злобно говорилъ поселенецъ.

Пройди-Свѣтъ металъ до семерки.

— Не та!

Пройди-Свѣтъ металъ до восьмерки.

— Дальше!

Пройди-Свѣтъ клалъ битую шестерку.

Поселенецъ со злобой бросалъ на полъ измятую карту, переступалъ съ ноги на ногу, блѣднѣлъ, краснѣлъ, плевалъ на руку, тасовалъ свою колоду, вырывалъ изъ середины карту, рѣзалъ Пройди Свѣту колоду и объявлялъ:

— Кушъ подь картой!

Пройди-Свѣтъ открывалъ „соники“

Такъ тихо, почти безмолвно, шла игра. Человѣкъ спускалъ съ себя все до нитки.

Коротенькие перерывы дѣлались, когда поселенецъ торговался за телѣгу, за серебряные глухіе часы, за пиджакъ, картузь, штаны и жилетку, за сапоги.

Поселенецъ ругалъ нецензурными словами „отцовъ“, отцы ругали нецензурными словами поселенца. И вещи шли почти задаромъ.

Вѣдь въ гробъ, черти, съ собой не возьмете!

— Молчи, пока не пришили!

— На саванъ вамъ, подлецамъ! Давайге!

Ему выдавались деньги.

Пройди Свѣтъ сидѣлъ все это время спокойный, равнодушный, словно не видя, что вокругъ него происходило. Совсѣмъ машина, которую остановили.

— Пройди-Свѣтъ, мечи!

И машина начинала работать.

— Поле! — въ послѣдній разъ крикнулъ поселенецъ.

Пройди-Свѣтъ слѣдующимъ же абнугомъ открылъ битого туза.

— Будя! — сказали въ одинъ голосъ „отцы“.

Старики разступились.

— Вотъ сюды, сюды иди!

Поселенецъ молча прошелъ въ уголокъ, молча скинулъ съ себя все, до шерстяной вязаной рубахи и до нижней рубахи включительно.

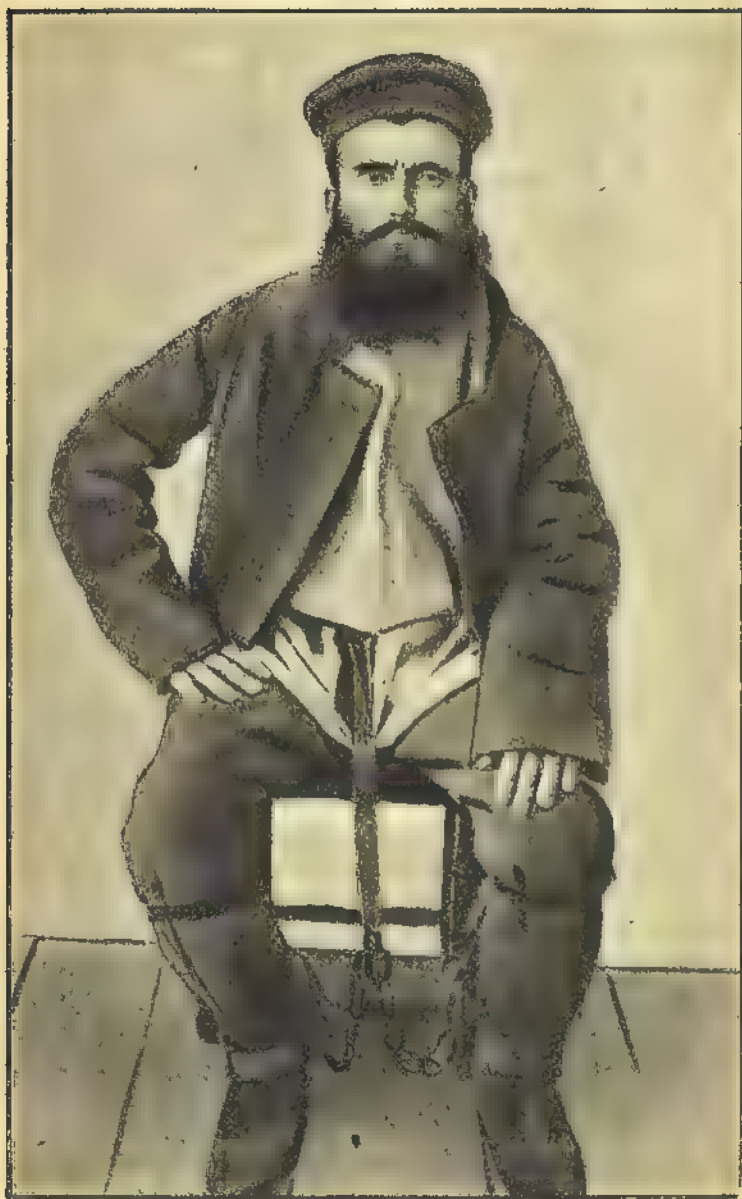
Когда онъ снималъ сапоги, изъ праваго голенища выпалъ ножъ и словно провалился сквозь землю: его моментально подобрали.

Поселенецъ одѣлся въ „ризы“, — какую-то рвань, — нахлобучилъ на голову драный арестантскій сѣрый картузь и молча вышелъ. На ходу онъ шатался. Идя по двору, жадно дышалъ свѣжимъ, чистымъ воздухомъ. Ноги у него заплетались, какъ у пьянаго. Выйдя изъ воротъ, онъ повернулъ куда-то и запагалъ, врядъ ли понимая, куда онъ идетъ, зачѣмъ. Видно было только, что шатается человѣкъ все сильнѣе и сильнѣе, да какая-то встрѣчная поселенка, поравнявшись съ нимъ, съ испугомъ шарахнулась въ сторону и долго потомъ глядѣла вслѣдъ быстро шедшему, шатавшемуся на ногахъ человѣку.

А на дворѣ богадѣльни „отцы“ усаживались въ телѣгу и ѣхали сбывать лошадей.

Когда нѣтъ посторонней наживы, старики „рѣжутся“ между собой, отыгрывая другъ у друга тряпье, послѣдніе гроши.





Типы сахалинских ссыльно-каторжныхъ.

Какія странныя и страшныя фигуры есть среди этихъ людей, вся жизнь которыхъ прошла среди розогъ, плетей, тюремъ, каторги, побѣговъ и погонь.

Вотъ слѣпой старикъ-бродяга... Борисъ Годуновъ.

— Почему ты Борисъ Годуновъ?

— Такъ смотритель одинъ прозвалъ. Еще въ молодыхъ годахъ. Сошлись насъ въ тюрьмѣ двое Борисовъ бродягъ. „Будь, говорить, ты по этому случаю Борисъ Годуновъ“. Для отлички.

— А кто былъ этотъ Борисъ Годуновъ-то, которымъ тебя называли?

— А кто жъ его знаетъ!

За что былъ сосланъ Борисъ Годуновъ первоначально въ каторгу, онъ „никому не открывается“. Въ Сибири, уже бѣглымъ, онъ былъ знаменитъ, какъ „охотникъ на людей“: грабилъ и рѣзалъ богомолковъ.

Объ этомъ времени старикъ вспоминать любить и, когда вспоминаетъ, по губамъ его ползаетъ широкая, чувственная улыбка.

— Много ихъ, богомолочекъ-то, по трактамъ ходить. Живился. Заведешься въ такой мѣстности, караулишь. Сидишь за кустомъ, поджидаешь. Идетъ богомолочка къ угодникамъ, другая бываетъ такая, что хоть бы и сейчасъ...

Старикъ смѣется.

— Выпорхнешь изъ кустовъ да за глотку. Ну, пользуешься около нея, да перомъ (ножъ), либо по дыхалу проведешь, либо въ бокъ кольнешь. Готово. Пошаришь. Съ деньжонками богомолочки то ходятъ. Свои угодникамъ на свѣчки несутъ, изъ деревни за упокой родителей дадено. Съ деньжонками. Хлѣбца у нея въ котомочкѣ возьмешь, пожуешь, — вотъ я и сытъ.

— И гдѣ же все это, на дорогѣ?

— Зачѣмъ на дорогѣ, — въ кустахъ. Возьмешь только на дорогѣ. А потомъ за ноги, куда подальше въ тайгу оттащишь. Нельзя близко оставлять, смердитъ богомолка будетъ, — живо на слѣдъ упадутъ. Пойдетъ слухъ, что въ такихъ-то мѣстахъ такой завелся; ходить опасаться будутъ. Это все по веси дѣлалось да по осени, когда отожнутся. Тутъ бабы къ угодникамъ и ходятъ.

— А лѣто?

— Лѣто гуляешь. Богомолкины деньги есть. А зиму первоначала тоже гуляешь, а потомъ въ работникахъ гдѣ живешь, аль-бо поймался, въ тюрьмѣ бродягой сидишь. А весна — опять по кустамъ пошелъ... По карціямъ-то (карцерамъ), сидя, я и ослѣплъ, — отъ темноты да отъ вони.

И слѣпой, онъ страшный картежникъ. Занимается ростовщичествомъ и изъ „отцовъ“ одинъ изъ самыхъ безжалостныхъ. Держить около себя въ черномъ тѣлѣ старика и черезъ него же въ карты играетъ.

— Обманываютъ, небось, старика Годунова? — спрашивалъ я.

— Да, поди, обмани его! Онъ каждую карту наощупь узнаетъ.

Рядомъ съ нимъ гроза всей богадѣльни Марянъ Пищатовскій. Пищатовскому всего лѣтъ 45. Онъ приземистъ, скуластъ, широкогрудъ страшно, настоящій Гераклесъ. Казенное бѣлье ему всегда узко, и сквозь рукава обрисовываются мускулы необыкновенныхъ размѣровъ. Силенъ онъ баснословно. Тихъ и кротокъ, какъ овца. Но онъ эпилептикъ, и, когда начинается съ нимъ припадокъ, все въ ужасѣ бѣжитъ отъ него.

Благодаря своей болѣзни, онъ и въ каторгѣ.

По словамъ Пищатовскаго, всегда онъ страдалъ головокруженіемъ и „потомъ ничего не помнилъ“. Попадъ въ военную службу, онъ страшно тосковалъ по родинѣ, тутъ „съ нимъ это самое дѣлалось“. Однажды, „самъ не помнитъ какъ“, онъ избилъ унтеръ-офицера. Здѣсь, въ каторгѣ, онъ однажды бросился на конвойнаго. Конвойный ударилъ его штыкомъ въ животъ. У Пищатовскаго прямо страшный шрамъ на животѣ, и доктора понять не могутъ, какъ онъ остался живъ. Пищатовскій согнулъ ружье.

— Я въ тѣ поры, — говоритъ, — страхъ какой сильный бываю!

Въ каторгѣ Пищатовскому приходилось ужасно. Въ припадкахъ онъ все крошилъ вокругъ себя, и арестанты, — „одно противъ меня средство“, говоритъ онъ, — накидывались на Пищатовскаго скопомъ и били его, пока не станеть какъ мертвый.

Такъ тянулась его поистинѣ „каторга“, пока Пищатовскому не помогъ трагикомическій случай.

Тюрьму, гдѣ онъ содержался, посѣтило одно изъ начальствующихъ лицъ. Когда Пищатовскій въ здоровомъ умѣ и твердой памяти, онъ, какъ я уже говорилъ, тихъ и кротокъ, какъ овца. И наивенъ онъ, какъ ребенокъ. Честенъ притомъ удивительно, ни въ какихъ мошенническихъ продѣлкахъ въ тюрьмѣ участія не принимаетъ, а потому совершенно нищій. Пищатовскому и пришла въ голову важная мысль: „Попрошу-ка я у добраго человѣка на чайекъ, на сахарокъ“.

Онъ подошелъ къ начальствующему лицу, поклонился и заявилъ:

— А вѣдь я васъ подстрѣлить хочу...

Разумѣется, тотъ отъ Пищатовскаго въ сторону:

— Въ кандалы его! Заковать!

Пищатовскій глядѣлъ, ничего не понимая:

— Чего это онъ?

Дѣло въ томъ, что „подстрѣлить“ на арестантскомъ языкѣ, значитъ—попросить милостыню.

Пищатовскій и до сихъ поръ дивится этому происшествію.

Да онъ подумалъ, что ты его убить хочешь.

— Какъ же убить, коли я говорю: „подстрѣлить?“ Убить это называется—пришить.

Пищатовскаго заковали въ ручные и ножные кандалы и посадили въ темный карцеръ. Тутъ съ нимъ сдѣлался припадокъ, и врачи объявили:

— Да какъ же его заковывать и въ карцеръ держать? Вѣдь онъ эпилептикъ!

Пищатовскаго отправили въ богадѣльню. О своихъ припадкахъ онъ и говорить боится:

— Еще сдѣлается!

По словамъ богадѣльщиковъ, никому спать не даетъ: по ночамъ вскакиваетъ и ругается дикимъ голосомъ.

Лицо у него доброе и несчастное. Языкъ весь искривленъ. Выраженіе лица такое, словно онъ боится, что вотъ-вотъ съ нимъ что-то страшное случится. Подпускать его близко боятся: а вдругъ!

— Онъ всѣхъ насъ тутъ перебьетъ!—говорятъ старики.

— Чисто отъ чумы, отъ меня всѣ бѣгутъ!—жаловался чуть не со слезами Маріанъ.—А вѣдь я смиренный. Развѣ я кому что дѣлаю? Я смиренный.

Это всеобщее отчужденіе, видимо, страшно тяготитъ и мучить несчастнаго Пищатовскаго.

Самые интересные изъ богадѣльщиковъ, или „богодюловъ“, какъ ихъ зовутъ на Сахалинѣ, конечно, клейменные.

Ихъ ужъ мало. Это призракъ страшной старины. Древняя исторія каторги. Когда еще „клеймили“: палачъ дѣлалъ особымъ приборомъ на щекахъ и на лбу насѣчки: „К“, „Т“, „С“, и затиравъ насѣченные мѣста черной краской.

— Сначала струпь дѣлался, а потомъ, какъ струпь отваливался, буквы черныя.

Изъ черныхъ онѣ отъ времени стали синими, и, дѣйствительно, страшно видѣть эти буквы на лицѣ человѣческомъ. У нѣкоторыхъ вмѣсто буквъ шрамы: вырѣзано или выжжено каленымъ желѣзомъ.

— Зачѣмъ же это дѣлали? Для бѣговъ?

— Нѣтъ, для какихъ бѣговъ? Все одно, увидятъ шрамы на лбу да на щекахъ, —значить, клейма были, вырѣзали. А такъ рѣзали,



Типы сахалинскихъ каторжниковъ.



аль бо желѣзомъ жгли, чтобъ буквѣ не было. Что жъ это! Образа и подобія лишаешься! Другъ на дружку глядѣть было страшно. Чисто, не люди.

Исторія ихъ всѣхъ удивительно однообразна.

Вотъ Казимиръ Круповъ, 70-лѣтній старикъ. Сосланъ былъ еще въ николаевскія времена, за убійство, на 10 лѣтъ. Пробылъ на Карѣ 9 лѣтъ, не выдержалъ, бѣжалъ. Поймали, прибавили 15 лѣтъ срока. Видя, что „все одно, погубать приходится“, — черезъ 2 года снова бѣжалъ. Поймали — каторга безъ срока. Еще въ 1892 году работалъ въ рудникѣ.

— Жизнь чисто нитка! — говоритъ онъ. — Никакъ не свяжешь. Ты ее какъ связать хочешь, а она тебѣ рвется, а она тебѣ рвется. Всѣ мы тутъ на ниткѣ живемъ.

Вотъ Дудкинъ Трофимъ, 67 лѣтъ отроду, 41 годъ въ каторгѣ. Еще изъ военныхъ поселенцевъ Херсонской губерніи. Былъ осужденъ на 15 лѣтъ каторги за грабежъ и убійство. Пришелъ на Кару, не выдержалъ, бѣжалъ; поймали, прибавили еще 15 лѣтъ каторги. Еще бѣжалъ, еще 15 лѣтъ прибавили. 6 разъ бѣгалъ — каторга безъ срока.

— Да она, все одно, безсрочна была. 45 годовъ, — нешто тутъ срокъ есть?

Вотъ совсѣмъ развалина, Матвій Кирдейко, виленскій мѣщанинъ, 83 лѣтъ. Въ каторгу пришелъ еще въ 1858 г. Осужденъ былъ на 12 лѣтъ за убійство и грабежъ. Затѣмъ черезъ 2—3 года бѣжалъ съ Кары, получилъ „прибавку срока“, еще бѣжалъ, еще прибавка. Въ концѣ-концовъ, безъ срока.

— А много ль разъ бѣгалъ-то, дѣдушка?

— Разовъ пять, а можетъ, и больше. Нешто теперь вспомнишь? Забылъ я уже все. Изъ откуда я, и изъ какихъ. Знаю только, что безсрочный.

Вотъ Вральцевъ, 70-лѣтній старикъ, изъ крестьянъ, Саратовской губерніи. Пришелъ на каторгу на 15 лѣтъ, а отбылъ ужъ 30 и еще долженъ отбывать безъ срока. Тоже за побѣги.

— Мили больно шибко, я и бѣгалъ! — говоритъ онъ. — Теперича мять будетъ, въ богадѣльню бросили. Да и мять-то больше нечего. Мять, мять, да и брошенъ.

И такова исторія всѣхъ. Осужденъ сравнительно на недолгіѣ срокъ, но бѣжалъ и „пошли плюсы“. При входѣ въ „номеръ“ тюрьмы на Сахалинѣ не рѣдкость встрѣтить на табличкѣ арестантовъ:

— Такой-то 6 л. + 10 + 15 + 15 + 20...

Есть каторжники, которымъ „сроку“ болѣе 90 лѣтъ, и которые „первоначально“ были осуждены на 6, на 8 лѣтъ, т.-е. за сравни-

тельно не тягчайшія преступления. Мы тутъ оченьъ точно отмѣряемъ: 6, 7, 8 лѣтъ каторги. А тамъ, среди невыносимыхъ условій, люди бѣгутъ отъ ужаса и изъ краткосрочныхъ каторжанъ превращаются въ безсрочныхъ. Такова исторія всѣхъ почти долгосрочныхъ сахалинскихъ каторжанъ.

Безногіе, безрукіе, калѣки—это живая новѣйшая исторія каторги. Исторія тяжелыхъ, непосильныхъ работъ и наказаній.

Вотъ этотъ отморозилъ себѣ обѣ ноги въ тайгѣ, во время бѣговъ, и ему ихъ отняли. Этотъ такимъ же образомъ лишился рукъ.

— Какъ же такъ? Зимой въ тайгѣ?

— Ваше высокоблагородіе, въ тюрьмахъ житься не было.

Что тамъ ни говори о „страсти“ каторжанъ къ побѣгамъ, но хороша должна быть жизнь, если люди бѣгутъ отъ нея зимою въ тайгу.

Масса „поморозившихся“ на работахъ, на вытаскѣ бревенъ изъ тайги.

— Одежду нашу знаете. Какая это одежда? Нешто она грѣетъ? Пошлютъ изъ тайги бревно таскать, и морозишься.

А потомъ—отнятыя руки и ноги.

Много, наконецъ, нарочно себя изувѣчившихъ.

— Это у тебя что? Тоже отняли, поморозилъ ногу?

— Нѣтъ, это я самъ. Валили дерево, я ногу и поставилъ. Раздробило, и отняли.

Или:

— Самъ себѣ я руку. Положилъ правую руку на пенекъ, а лѣвой топоромъ какъ дерну—и отрубилъ.

— Да зачѣмъ? Съ чего?

— Отъ уроковъ да отъ наказаній.

Гг. сахалинскіе служащіе объясняютъ это „лѣнью“ каторжанъ. Но врядъ ли отъ одной лѣни люди будутъ отрубать себѣ руки и нарочно ломать ноги. Кромѣ каторги, нигдѣ о такой лѣни никто не слыхивалъ.

— Дадутъ урокъ не по силамъ, не выполнялъ—драть и, въ наказанье, хлѣба уменьшать. Назавтра еще пуще безсилѣешь, опять драть да хлѣба уменьшать. Приходишь совсѣмъ въ слабость. Никогда урока не выполняешь. Дерутъ, дерутъ голоднаго-то. Въ отчаяніе приходишь, либо ногу подъ телѣжку али подъ дерево, либо руку прочь.

Вотъ гдѣ писать исторію тѣлесныхъ наказаній въ каторгѣ.

Меня смотритель Л. на самый Свѣтлый праздникъ дралъ, въ ночь, подъ утро, когда разговляться надоть было. „Вотъ, говорить, тебѣ и разговѣнье“. Тамъ „Христосъ воскресъ“ поютъ, а меня на кобылѣ порютъ.

Что жъ удивительнаго, что люди, какъ все священники на Са-халинѣ жалуются, „отстають отъ религии“?

— Мнѣ 35 розогъ цѣльный день давали!

— Какъ такъ?

А такъ. Драли въ канцеляріи. Смотритель сидитъ и дѣлами занимается. А я на кобылѣ лежу и палачь при мнѣ. Смотритель попишетъ, попишетъ, скажетъ: „Дай!“ Розга. Потомъ опять писать примется. Обѣдать домой уходилъ, а я все лежалъ. Такъ цѣльный день и прошелъ.

Смотритель К., производившій эту экзекуцію, самъ говорить, что это такъ:

— Это моя система. А то что: отодрался, да и къ сторонѣ. Это ихъ не беретъ. Нѣтъ, а ты цѣлый день лежи, помучайся!

Разнѣ не истязаніе? Въ какомъ законѣ опредѣлено что-нибудь подобное?

— Меня такъ вьзодрали, два мѣсяца потомъ на карачкахъ, на колѣнкахъ, на доктыяхъ, стоялъ, лечь не могъ. Цѣльный мѣсяцъ послѣ порки все изъ себя занозы вытаскивалъ. Гнилъ.

— Я и посейчасъ гнию!

И дѣйствительно гниють.

Такія наказанія были въ Александровской тюрьмѣ, когда въ сосѣдней камерѣ драли, одинъ арестантъ подъ нары залѣзъ и тамъ себѣ отъ страха горло перерѣзалъ. Обезумѣлъ человекъ. Такъ страшно было.

И это тоже фактъ.

А старики, слушая эти рассказы болѣе молодого каторжного поколѣнія, только усмѣхаются.

— Это еще что! Какая каторга! Вотъ на Карѣ въ разгильдѣевскія времена было, вотъ это драли. Мясо клочьями летѣло.

И они показываютъ страшные шрамы дѣйствительно отъ вырванныхъ кусковъ мяса.

— А это что за каторга!

И древніе старики рассказываютъ о страшныхъ церемоніяхъ „посвященія въ каторжные“, практиковавшихся встарь.

Въ этой ужасной, срадной богадѣльнѣ, гдѣ все дышитъ ужасомъ, спать не иначе, какъ съ ножами подъ подушкой, или подъ тряпьемъ, замѣняющимъ подушку. Боятся—обокрадутъ.

Старики у стариковъ вѣчно ночью воруютъ.

— Вышають мало! Вышать ихъ надо! — жалуются ростовщики, „отцы“. Ни одну ночь спокойно не проспичь. Все сговариваются старики, все сговариваются: „Пришьемъ его, какъ заснетъ“.



Арестантскія работы.



Если въ камерѣ умираетъ какой-нибудь старикъ, остальные кидаются, обираютъ все до нитки,—такъ что трупъ находятъ совсѣмъ голымъ. Это ужъ обычай.

И старики, обобравшіе ужъ помногу покойниковъ, жаловались:

— А денегъ помногу никакъ не найдешь!

— Ужъ покойниковъ двадцать этакъ-то раздѣвалъ! — жаловался мнѣ одинъ старикъ.—Хоть бы что! Прячутъ, черти! Ужъ я всегда держусь въ камерѣ, гдѣ „отцы“ есть. Мѣсто себѣ на парахъ сколько разовъ въ такихъ камерахъ покупалъ, изъ послѣдняго тратился. Все думаешь,—вотъ какой помретъ, воспользуемся. Занедужится ему,—ждешь, ночи не спишь. Затихнетъ ночью, подойдешь,—нѣтъ, еще дышитъ. „Что,—говорить,—ждешь, Аванасьичъ?“ Смѣются которые изъ нихъ. Просто измашься съ ними, ночей не спамши. А день-то денской боишься: а ну-ка его въ „околотокъ“ отъ насъ увесутъ. Хоть мы про такихъ и не сказываемъ. Лучше, чтобы у насъ въ камерѣ померли. Наконецъ кончится человекъ. Тутъ ужъ какъ ему совсѣмъ кончатся, почитай весь номеръ не спитъ, карауляетъ, сидятъ. И день денской изъ камеры не выходятъ и по ночамъ не ложатся. Кинемся это къ нему,—такъ тряпье, да денегъ рублей 20,—больше и не находили. А вѣдь есть которые по сотельной имѣютъ. Прячутъ, хитрые черти! Такъ и околѣеть,—никому не достанется.

Прятать деньги старики уходять куда-нибудь въ поле, потихоньку, чтобы никто не подсмотрѣлъ. Въ то лѣто, когда я былъ, въ богадѣльнѣ повѣсился одинъ старикъ—„отецъ“, кто-то прослѣдилъ, куда онъ спряталъ деньги, и, когда старикъ пришелъ однажды, ямка была разрыта. Онъ не выдержалъ и удавился, быть-можетъ, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, которая и такъ бы все равно пришла.

Такъ живутъ эти люди, пока ихъ не стащатъ въ „околотокъ“, а потомъ на кладбище.

Околотокъ,—это нѣчто въ родѣ лазарета. Но только „нѣчто“. Врачей на Сахалинѣ мало,—и въ Дербинскую богадѣльню врачи заѣзжаютъ изъ сосѣдняго селенія. Въ обыкновенное же время въ околоткѣ глава и хозяинъ, такъ называемый „перевязчикъ“, изъ каторжанъ, слегка подученный фельдшерскому дѣлу.

Околотокъ Дербинской богадѣльни—это мѣсто страданій, послѣднихъ вздоховъ и разврата.

Околотокъ—небольшая комната, гдѣ лежитъ человекъ двадцать больныхъ и ожидающихъ послѣдняго часа. Вмѣстѣ съ мужчинами здѣсь лежатъ и двѣ старухи: Афимья и одноглазая „Анютка“.

Цѣлый день въ околоткѣ ругань между Афимьей и ея „содержателемъ“, слѣпымъ паралитикомъ.



— Спокою отъ нихъ нѣтъ! — жаловались старики, близкіе ужъ совсѣмъ къ смертному часу.

— А вы сдыхайте, черти старые! — кричалъ слѣпой паралитикъ. — Только койки зря занимаете, подлецы! Сдыхать пора. А живой о живомъ и думаетъ.

У него отнялись ноги, а руками онъ вокругъ себя такъ и шарить, такъ и шарить.

— Афимья! Афимья! Гдѣ ты?

— Здѣсь я. Чего ты? Экъ, проваль тебя не возьметъ!

— Не смѣй уходить. Куда ты? Опять къ Левонтію пошла? — чуть не плачущимъ голосомъ блажить старикъ. — Ахъ, глаза мои не видятъ! Видѣлъ бы! Пришить васъ мало! Ахъ, шкура! Со всѣми-то путается!

— Изъ-за нея только и въ околоткѣ лежу! — жаловался онъ мнѣ на Афимью. — Такая подлая старуха! Ни на минуту оставить нельзя. Рупь вѣдь въ недѣлю она мнѣ стоитъ, рупь ей плачу, да чай каждый день со мной пьетъ, да булку бѣлую завсегда ѣстъ, да молоко пьетъ! А благодарности ни на эстолько! Все къ Левонтію бѣгаетъ. Вѣдь сдыхаетъ, пещь, а все на чужую бабу зарится. Афимья-я-я!..

— Да здѣсь я. Не ори, чисто зарѣзанный!

Старика перевязчикъ держитъ въ околоткѣ охотно. Старикъ, — по-каторжному, „богатый“, изъ „отцовъ“, — платитъ ему „по полтинничку“ за гофманскія капли, которыя перевязчикъ выдаетъ ему за „возбуждающее“.

А 58-лѣтняя Афимья составляетъ конкуренцію кривой 56-лѣтней „Анюткѣ“. Анютка слѣпа на одинъ глазъ. Другой у нея болитъ, и она нарочно его себѣ растравляетъ, чтобы остаться въ околоткѣ.

Перевязчикъ, который за это пользуется ея благосклонностью, держитъ ее въ околоткѣ.

— Вотъ доктору скажу, глазъ себѣ травмишь! — кричитъ, ругаясь съ ней, Афимья.

— Куды жъ я, слѣпая-то, пойду? — отгрызается Анютка. — Смотри, какъ бы я не сказала, какъ ты колѣнко у себя расколуываешь, зажить не даешь!

Спеціальность Анютки, какъ и Афимьи, торговля своимъ старымъ тѣломъ.

Какая ужасная, мерзкая, гнусная старость!

Словно куча навоза догниваетъ на солнцѣ, каторжная Дербинская богадѣльня, — эти отвратительные, страшные, жалкіе, несчастные, такъ много страдавшіе люди.

# ОГЛАВЛЕНИЕ.

## Часть первая.

Стр.	Стр.
Татарский проливъ. — Климатъ. —	Отъездъ . . . . . 145
Природа. — Сѣверный, средний и	Настоящая каторга . . . . . 148
южный Сахалинъ. — Сахалин-	Столица Сахалина . . . . . 156
ская дорога. — Островъ-тюрьма. . . . . 3	Приговаривается къ каторжнымъ
Первая впечатлѣнія . . . . . 12	работамъ . . . . . 170
Лазаретъ . . . . . 20	Кто правитъ каторгой . . . . . 189
Каторжное кладбище . . . . . 30	Смотритель тюремъ . . . . . 212
Тюрьма . . . . . 33	Смертная казнь . . . . . 219
Нарядъ . . . . . 34	Палачи: Толстыхъ, Медвѣдевъ,
Тюрьма ночью . . . . . 40	Комлевъ, Голяинскій, Хрус-
Раскомандировка . . . . . 44	цель . . . . . 238
Тюрьма кандалная . . . . . 47	Тѣлесныя наказанія . . . . . 251
Вольная тюрьма . . . . . 54	Нравы каторги . . . . . 260
Мастерскія . . . . . 56	Иваны . . . . . 261
Ополотокъ . . . . . 58	Храпы . . . . . 267
Женская тюрьма . . . . . 60	Игроки . . . . . 268
Карцеры . . . . . 61	Жаганы . . . . . 271
„Исправился“ . . . . . 66	Шпанка . . . . . 276
Два одессита . . . . . 68	Горе Матвѣя . . . . . 277
Убийцы (Супружеская чета) . . . . . 76	Безсрочный „испытываемый“ Гло-
Гребенюкъ и его хозяйство . . . . . 80	вацкій . . . . . 281
Наклинь . . . . . 85	Каторжные типы . . . . . 288
Поселенцы . . . . . 92	Посвященіе въ каторжники . . . . . 305
Сожительница . . . . . 95	Интеллигентные люди на ка-
Сожитель . . . . . 99	торги . . . . . 312
Добровольно послѣдовавшая . . . . . 101	Тальма на Сахалинѣ . . . . . 316
Домовладѣльцы . . . . . 104	Картежная игра . . . . . 322
Рыцарь . . . . . 108	Законы каторги . . . . . 328
Свободные люди острова Саха-	Языкъ каторги . . . . . 333
лина. (Редакторъ-издатель) . . . . . 111	Пѣсня каторги . . . . . 342
„Сахалинскій Орфей“ . . . . . 116	Каторга и религія . . . . . 348
„Спиртовая торговля“ . . . . . 120	Сектанты о. Сахалина . . . . . 356
Биричь . . . . . 122	Преступники и преступленія . . . . . 365
Каторжный театръ . . . . . 128	Преступники и судъ . . . . . 381
„Каторжные артисты“ . . . . . 139	Женская каторга . . . . . 385
Бродята Сокольскій . . . . . 140	Несчастнѣйшая изъ женщинъ . . . . . 390
Преступленія въ Корсаковскомъ	Добровольно слѣдующія . . . . . 393
округѣ . . . . . 144	Уроженцы о. Сахалина . . . . . 409

## Часть вторая.

Стр.	Стр.
Золотая ручка . . . . . 3	Плебей . . . . . 104
Полудляховъ . . . . . 11	Отпеубійца . . . . . 108
Знаменитый московскій убійца . . . . . 32	Шкалдыба . . . . . 113
Специалистъ . . . . . 42	Наемные убійцы . . . . . 118
Людоѣды . . . . . 54	Самоубійца . . . . . 127
Каторжанка баронесса Геймб-	Оголотѣлые . . . . . 130
рукъ . . . . . 66	Интеллигентъ . . . . . 133
Ландсбергъ . . . . . 75	Поэты-убійцы . . . . . 137
Дядюшка русской каторги . . . . . 84	Убійца . . . . . 145
Святотатка . . . . . 92	Преступники душевно-больные . . . . . 162
Аристократъ каторги . . . . . 96	Сахалинское Монте-Карло . . . . . 174



